

П о л ы н ь - с у х и е с л   з ы

Анастасия  
ТУМАНОВА



I

*Убежим  
с тобой,  
желанная*



Полынь – сухие слёзы

Анастасия Туманова

**Убежим с тобой, желанная**

«Автор»

2013

**Туманова А.**

Убежим с тобой, желанная / А. Туманова — «Автор»,  
2013 — (Полынь – сухие слёзы)

ISBN 978-5-699-66278-4

Крепостная девушка Устинья, внучка знахарки, не по-бабьи умна, пусть и не первая красавица. И хоть семья её – беднее некуда, но именно Устю сватает сын старосты Прокопа Силина, а брат жениха сохнет по ней. Или она и впрямь ведьма, как считают завистницы? Так или иначе, но в неурожай, голоде и прочих бедах винят именно её. И быть бы ей убитой разъярённой толпой, если бы не подросли Силины. Однако теперь девушке грозит наказание хуже смерти – управляющая имением, перед которой она провинилась, не знает пощады. Где искать спасения, кому бить челом? Вся надежда на молодого барина Никиту Закатова – к нему и отправляются Устя и верные братья...

ISBN 978-5-699-66278-4

© Туманова А., 2013

© Автор, 2013

## Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	47
-----------------------------------	----

# Анастасия Туманова

## Убежим с тобой, желанная

© Туманова А., 2013

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

Над Бельским уездом Смоленской губернии раскинулся душный предгрозового вечера лета 1830 года. Воздух был тяжёлым, густым, столбики насекомых жужжали над клонящейся к земле рожью. Раскалённое солнце в дымном зареве падало за холмы, а с востока, из-за леса, поднималась сизая туча.

Помещик Владимир Закатов, полковник в отставке, высокий сидящий человек сорока пяти лет, с острым сухим лицом и ястребиными глазами, задумчиво мял сорванный колосок. За ним внимательно наблюдал Прокоп Силин – огромный, словно грубо вытесанный топором из лесной коряжины мужик. Рядом, на дороге, виднелась телега, вяло хрумкала травой саврасая кобыла.

– Так, по-твоему, Прокоп, можно начинать? – сомневаясь, спрашивал Закатов. – У Браницких ещё не жали...

– По мне, так ещё на той неделе начинать надо было, – пожал могучими плечами Прокоп. – Браницкие пусть что хотят делают, у них запашки, не в обиду вам будь сказано, на сорок десятин больше! Они и рожь упустят – не в убытке останутся. А мы?! Того гляди, ржица-то посыпется! Ещё и непогодь вон какая тащится, пронеси, господи... – Он озабоченно задрал к темнеющему небу бороду, сощурился. – А ну как градом ударит? Пора, барин, как хочешь, – пора! Прямо вот завтра!

– Что ж, тогда, возможно... – Полковник не договорил: Силин вдруг резко повернулся всем телом к дороге, на которой ещё минуту назад не было ни души. Теперь же по ней кто-то отчаянно пылил босыми ногами. Полковник с Силиным переглянулись и, не сговариваясь, зашагали навстречу.

Облако жёлтой пыли приблизилось, оглушительно чихнуло и оказалось потной, встрёпанной девкой с вытаращенными глазами. Увидев барина, она всплеснула руками и хрипло закричала, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание:

– Барин, ради бога... Ох... Аполлинария Петровна... Охти, батюшки, не могу... Они... барыня наша, ой... У них, кажись, с утра-то началось... И худо... Ох, худо совсем... Вас по всем работам ищут... Ох, поспешайте за-ради Христа...

Лицо Закатова побледнело. Одним прыжком он оказался возле задыхающейся девки, несколько раз с силой, наотмашь, ударил её по лицу:

– Говори, мерзавка! Говори ясней, что с барыней?!

Девка взвыла с перепугу и принялась отчаянно икать. Застонав сквозь зубы от бешенства, Закатов замахнулся было снова, но в это время его с силой, без всякого почтения хлопнули по плечу.

– Поспешай, барин, залазь в телегу! – раздался суровый окрик. – Даст бог, поспеем! Да брось дурищу эту, толку-то с неё, вишь, языка лишилась!..

Прокоп Силин уже сидел на передке телеги, сосредоточенно разбирал вожжи. Опомнившийся Закатов по-молодому быстро вспрыгнул к нему. Прокоп завертел концом вожжей над головой, вытянул ими савраску, свистнул, и лошадь понесла.

Телега летела, гремя и прыгая на дорожных ухабах, поднимая тучи пыли и каждый миг грозя рассыпаться. Прокоп, стоя в ней во весь рост и широко расставив ноги, нахлёстывал савраску. Закатов, едва удерживаясь на коленях на дне телеги, сбивчиво просил:

– Прокоп, милый, быстрее... Боже мой, что же там могло случиться? Она же ещё с утра была спокойна, весела... Сама выгнала меня из дому на работы! Прокоп, да гони же ты, чёрт, скорее!

– Куда скорее, барин, лошадь падёт! – не оглядываясь, цедил Прокоп. – Молись, чтоб не перевернуться нам! Ну, милая, ну, не выдай! Пошла, пошла! Небось, Владимир Павлыч, доспеем! Даст бог, всё ладом будет!

– Прокоп, ради бога, погоняй!

– Еду, барин, еду... Вон уж Болотеево видно!

Телега в вихре пыли пронеслась по улице села, давя кур и поросят; дети с истошным визгом выскакивали прямо из-под лошадиных копыт. Впереди уже показались белые столбики ворот усадьбы, и Прокоп, оскалившись и натянув вожжи, направил лошадь прямо на них. Саврасая с обезумевшими глазами ворвалась в усадьбу и у самых ступеней барского дома была немилосердно осажена. Телега с отчаянным скрипом накренилась, стала, просев на один бок. Закатов выпрыгнул из неё и взлетел по деревянным ступенькам крыльца.

В сенях полковника встретила компаньонка жены: молодая некрасивая женщина в коричневом платье, с бесцветными, убранными в гладкий узел волосами.

– Что с Полей, Амалия Казимировна? – задыхаясь, спросил Закатов.

– Я говорила, Владимир Павлович, что не надо вам нынче ехать на работы! – в ровном, чуть скрипучем голосе женщины явственно слышался польский акцент. – Мы сбились с ног в поисках вас, вся дворня носится по полям! Вы даже не изволили сказать, куда направитесь...

– Что с Полей?! Она рождает?!

– Она родила три часа назад, – сухо сообщила компаньонка, и только сейчас Закатов почувствовал сладковатый запах крови в сенях. – И боюсь... что уже нужен священник. Видит бог, я сделала всё, что...

Не дослушав её, полковник кинулся в горницы.

Аполлинария Петровна лежала в душевой, тёмной комнате, на высокой супружеской кровати, среди пропотевших перин. Она находилась уже в полузабытьи, но, когда муж, упав на колени, прижал к губам её сухую, горячую руку, она, не открывая глаз, хрипло спросила:

– Владимир, это ты? Слава богу...

– Я... Конечно, я... – Закатов старался говорить спокойно, но голос его дрожал, срывался. – Поленька, что же это такое?.. Почему ты ничего не сказала утром? Ты ведь чувствовала, знала? Поля, что мне делать, скажи! За доктором уже послано, я с тобою, бог нас не оставит... Боже, Поля, отчего столько крови?!

– Владимир, ради господ, заклинаю тебя, – не оставь Аркашеньку! – едва шевельнулись обмётанные жаром губы умирающей. – Он умный, он способный мальчик... он понимает науки, он должен быть счастлив... он должен получить всё, всё... Я виновата, я не хотела пустить его от себя, а ему давно пора в корпус... Он сможет сделать блестящую военную карьеру, в нашем роду все мужчины... Поклянись мне, поклянись мне сейчас же на образе... Поклянись, что всё сделаешь для Аркашеньки, что он... Где он? Где он?! Я хочу проститься...

– Аркадий, поди сюда... Поля, я клянусь, обещаю тебе... Перед богом истинно клянусь... Он поступит в корпус, в военную академию... В гвардию! Ты можешь быть покойна, я сделаю всё... Ничего не пожалею, последнюю рубаху с себя продам... Поля, что с тобой?! Да что же это, господи?! Прокофьевна! Юшка! Амалия Казимировна, да подите же сюда, помо-

гите ей!!! – в отчаянии закричал Закатов, не смея отпустить руку жены, а старая нянька, давась рыданиями, неловко тащила со стены облепленный паутиной образ. Двенадцатилетний Аркадий громко плакал, вцепившись в столбик кровати и не давая себя увести; в сенях набились дворовые. Амалия Казимировна, зло шипя, выталкивала их, громко молилась нянька, торопливо входил в горницу священник, – а тот, кто был причиной всего этого, лежал в дальней комнате совсем один, слабо попискивал в намокшей пелёнке, и никто о нём не вспоминал.

На дворе Прокоп Силин обтирал потные бока савраски. Когда из дома выбежала очередная девка, он поймал её за подол:

– Палашка, что там?

– Ко... кончилась барыня, кажись! – шёпотом выговорила Палашка. – Уж читают над ней.

– Ох ты, господи, ну вот... – Прокоп медленно перекрестился, похлопал ладонью по влажной, потемневшей шерсти своей кобылы. – Это ж надо... Стало быть, зря тебя запарили, милая. Ну, упокой господь... Жаль, добрая барыня была. – Он задрал голову к небу, нахмурился. – Ох, беда... Так как же жать-то теперь? Когда распорядятся-то?

Ответить ему было некому. Прокоп снова тяжело вздохнул и, потянув усталую савраску за узду, медленно пошёл со двора.

Полковник Закатов сдержал слово, данное покойнице. Человек увлекающийся и горячий, страстно любивший жену, которую, на смех всему уезду, взял бесприданницей из нищего рода польских дворян, он всю свою лихорадочную любовь перенёс на старшего сына Аркадия. Поместье у Закатовых было небольшое: две сотни взрослых душ, сёла Болотеево и Рассохино, три чахлые деревеньки и довольно большой лес едва покрывали убытки, крепостные работали на барщине три дня в неделю, и первое, что сделал полковник после смерти жены, – превратил эти три дня в четыре. Крепостные взвыли, несколько дней Болотеево и деревни гудели, но протестовать в открытую так никто и не решился: у вспыльчивого барина расправа была коротка. Затем Закатов продал деревню Гласовку давно зарившемуся на неё соседу и на вырученные средства нанял для сына учителей. По возрасту Аркадию уже давно пора было поступать в кадетский корпус, и за оставшиеся полгода он должен был основательно подготовиться к экзаменам. Аркадий, которого до сих пор обучала наукам сама мать, вовсе не был обрадован подобным переменам в своей жизни, но возразить отцу ему и в голову не пришло.

Полковник Закатов по натуре своей не мог и не умел отступить от уже задуманного. В его горячей голове обещание, данное покойнице, быстро обратилось в *idée-fixe*, и он готов был не задумываясь отдать всё имущество – лишь бы Аркадий поступил в корпус. О младшем же сыне Закатов быстро и искренне забыл, сбросив его на руки дворни. Имение оказалось на попечении Амалии Веневицкой – бывшей институтской подруги хозяйки, взятой ею в компаньонки. Это была очень высокая и нескладная девица, державшаяся всегда прямо, как палка, с круглыми, близко посаженными «совиными» глазами и тонкими, поджатыми губами, на которых никогда даже не мелькало улыбки. Ни своей семьи, ни средств у Веневицкой не было, а некрасивая наружность не оставляла ей никакой надежды выйти замуж. Аполлинару Петровна, всецело поглощённая заботами о сыне, с радостью столкнула на услужливую подругу дела по хозяйству и передала ей огромную связку ключей и все полномочия. Полковник не возражал: для него имело значение лишь удовольствие и покой обожаемой Поленьки. А после смерти барыни Амалия начала царствовать в имении единовластно. Очень скоро дворня привыкла к тому, что барин на любой вопрос отвечает: «Спросите у Амалии Казимировны» или «Как Амалия Казимировна распорядится». Полевые работы, расчёты с крестьянами, разговоры со старостой по-прежнему находились в ведомстве хозяина, но всё, что касалось дворни, домашних расходов, прислуги, перешло под начало желтоглазой, сухой и злой польки, прозванной Упырихой.

В первые дни жизни Никиты Амалия ещё пыталась приставать с вопросами к полковнику:

«Кого вы распорядитесь приставить к мальчику? Привести кормилицу из деревенских или взять из дворовых? Какую велите няньку? Когда назначить крестины?»

Первое время Закатов даже удивлялся и молча смотрел на экономку, не понимая, о ком она говорит. Затем, однако, вспоминал, темнел лицом и быстро, сквозь зубы говорил:

«Поступайте, как считаете нужным. Кормилицу?.. Что ж, можно... возьмите, какую лучше, я в этом ничего не смыслю. Крестить? Да, пожалуй... Уж устройте это как-нибудь, сделайте милость... И проследите, чтобы Аркадий вовремя сел за немецкий! И французская грамматика непременно! И чтобы месье Грамон показал после мне учебник да счёл прочитанные страницы, я проверю!»

В конце концов и Амалия, и вся дворня поняли, что маленький барин родителю не нужен и скорее всего на свете не заживётся. Веневицкая, поразмыслив, всё же приставила к нему дворовую девчонку: рыжую, голенастую десятилетнюю Настьку, племянницу Силиных. Родители Настьки умерли от моровой язвы, а двух малолетних сестрёнок взял в свою семью дядька Прокоп. Он был не прочь забрать к себе и старшую племянницу, но Веневицкая решила, что Настька, которая в свои неполные десять лет была неплохой кружевницей и вышивальщицей, больше пригодится в барской рукодельне. С появлением на свет Никиты Настьку из рукодельни взяли. Ей было вменено в обязанность носить барчука на руках, чтоб не плакал, качать люльку по ночам, забавлять младенца в меру сил и умения и стирать за ним пелёнки. Настька выполняла всё это с усердием, успевая даже в свободное время вязать чулки или плести кружево, чем Веневицкая была весьма довольна. Кормилицу для Никиты тоже нашли, взяв из деревни здоровенную молодку Марфу. Та, рассудив, что, чем дольше она будет кормить барчука, тем дольше её не отправят обратно к мужу, бившему её смертным боем, совала Никите свою грудь до его трёх лет. После спохватились, что барчук подрос, ревущую благим матом Марфу спровадили со двора и теперь уже кормили мальчика чем придётся и когда придётся, чаще всего – щами или кашей из общего котла в людской. Настьку отправили обратно в девичью, рукодельничать, но в каждую свободную минутку она прибегала к своему маленькому барину, чтобы наспех расспросить его о житье-бытье, сунуть ягоду или яблоко, рассказать сказку или немного побегать с ним – если поблизости не было Упырихи. Если Настька, занятая делами, подолгу не появлялась, Никита сам отправлялся на её поиски: никто этому не препятствовал. Он так и вырос в людской, среди дворовой прислуги, вертась среди вечно занятых девок, играя клубками шерсти, путая пряжу и ползая по домотканым половикам у всех под ногами.

– Ах вы, барин мой золотенький, бедный мой... – вздыхала по временам Настька, поглядывая из-за своих коклюшек за тем, как перемазанный сажей Никита сосредоточенно возится у печи с щепками и чурочками. – Никому-то вас не надобно...

– Рот завяжи, подлянка! – шипела на неё, испуганно оглянувшись на дверь, тётка Марья. – Забыла про Упыриху-то нашу?! Враз тебя, дуру, на конюшню отправит, чтоб волю барскую не рассуждала!

– А я рази рассуждаю? – вздыхала Настька. – Им, вестимо, виднее... А только жалко.

– Чего тебе жалко? – хмыкала тётка Марья. – Думала, поди, что тебя навек к барчонку приставят, и только и работы у тебя будет, что с ним по саду в горелки бегать! Что – правду говорю?! Ан нет, красавица, здорова больно для беготни оказалась! Подержись-ка за коклюшки, поработай на барина! Ха!

– Грех тебе, тётя Марья... – грустно отмахивалась Настя, не поднимая глаз от работы. И Никита, раз за разом слушавший подобные разговоры, постепенно уверился в том, что Настька, возясь с ним, делает это для каких-то своих выгод. Это умозаключение не расстроило его: скорее успокоило. С ранних лет Никита любил уяснять для себя причины поведения людей. К сожалению, объяснения этих причин он получал, подслушивая разговоры прислуги. Отец не любит его, потому что из-за него скончалась маменька. Он любит брата Аркадия, потому что тот красив, умён, весел и похож на маменьку. Настя тоже его не любит, ей просто не



хочется делать тяжёлую работу, а хочется отдыхать, возясь с барчонком. Егорыч стругает ему палочки, потому что исполняет барскую волю. Горничная Парашка, на бегу обдёргивающая ему рубашонку, боится Амалии Казимировны, которая спросит с неё за беспорядок. Никита ни с кем не говорил об этих своих выводах, да никто его ни о чём и не спрашивал. Никто не следил за его воспитанием, никто его ничему не учил. Никому не нужный малыш часами бродил один по большому, несурзному, облепленному пристройками и галереями дому. Если в доме становилось скучно, а время было летнее, Никита бежал в сад, безнадежно запущенный после смерти Аполлинии Петровны. Аккуратные клумбы с цветами сплошь затянулись повиликой, одуванчиками и пыреем, вокруг кустов смородины вытянулись крапива и лебеда. Старые яблони, к которым было не подойти из-за буйных зарослей лопухов, до самых макушек были заплетены хмелем, задумчиво покачивающим на ветру золотисто-зелёными шишечками. На лопухах висели чуть видные, серебристые нитки паутины, которая липла к губам и ресницам, когда Никита с палкой наперевес продирался сквозь эти заросли. Палка, выструганная сторожем Егорычем, заменяла ему все игрушки и служила и саблей, и ружьём, и копьём, и даже помелом Бабы-яги. Никита знал в саду все гнёзда, все ежиные норки и лазы и особенно ценил дыру в заборе, через которую можно было беспрепятственно выбраться прямо к обрывистому берегу желтоватой, мелкой речонки. Там он мог часами сидеть в кустах и наблюдать за деревенскими ребятишками, которые ловили под корягами раков, удили голавлей, купались, поднимая столбы брызг, с визгом и воплями боролись и дрались, играли в бабки и в тряпичный мяч и даже – верх мечтаний Никиты! – гоняли поить крестьянских лошадей. Никита не решался подходить к ним, так как не знал, чем сможет их заинтересовать и что предложить, чтобы заслужить их внимание.

Ему было лет шесть, когда он, набравшись однажды храбрости, вылез из кустов и подошёл к деревенским. Увидев маленького барина, белоголовые босые мальчишки разом прекратили возню, торопливо повскакивали с примятой травы, на которой только что с упоением боролись, а самый старший из них, не принимавший участия в игре, стянул с головы рваную шапку и низко, до земли, поклонился. Покосившись на него, поклонились и остальные.

– Здравствуйте, – робко поздоровался Никита.

– Здравствуй, барин, – нестройно ответили ему.

– Нельзя ли поиграть с вами?

Мальчишки переглянулись – без улыбок и, как показалось Никите, испуганно.

– Что ж, играй на здоровье, – настороженно ответил старший, поднимая из пыли тряпичный мяч и вручая его Никите. Тот подбросил его вверх, ещё раз и ещё, – но никто не сдвинулся с места.

– Ну, что же вы? – недоумённо обернулся он.

– Ты играй, барин, играй, сделай милость... – вежливо попросили его. – А мы уж опосля.

Никита обвёл взглядом напряжённые лица мальчишек и с горечью понял, что стесняет их своим присутствием. Он постарался не подать виду, что расстроен этим, вернул мяч, небрежно простился, зашагал к усадьбе, и чуть не разрыдался, услышав за спиной звонкий, радостный взрыв смеха. Смеялись не над ним, он это знал; просто радовались тому, что устранена досадная помеха для игры, он, Никита Закатов.

Никита искренне намеревался не рассказывать об этом случае никому. Летом вся дворня обычно сбивалась с ног, изо всех сил угождая приехавшему на каникулы старшему барчуку, а в этом году восемнадцатилетний Аркадий закончил корпус и должен был отправиться в Петербург, в гусарский полк, так что отец старался, чтобы старший сын, красавец гусар, всем был доволен. Из-за этой суматохи вокруг Аркадия Никиту часто даже забывали накормить, и он привычно довольствовался тем, что оставалось после обеда в людской. Пожаловаться кому-то на свои беды ему в голову не приходило. Но в этот вечер, видимо, всё было слишком

явственно написано на его лице, бледном и убитом, и Настя, которая торопливо доедала в людской пустые щи из деревянной миски, что-то заметила.

– Чего-то вы нонеча сбледнели, Никита Владимирович, уж не на солнце ли перегрелись? Поди, без дозволения купаться сбегли? Ужо Амалии Казимировне нажалуюсь! Аль стряслось чего? – Настя отодвинула миску, встала, озабоченно пощупала шершавой ладонью лоб мальчика, заглянула в полные слёз глаза. – И-и, да с чего вы ревёте-то? Обидел кто? Вы мне-то скажите, я-а-а его!.. Ух – крапивой-то!

Никита вдруг расплакался навзрыд – неожиданно для самого себя и чуть ли не впервые в жизни. Настя перепугалась так, что у неё затряслись руки и загорелое лицо сделалось серым.

– Барин... Миленький... Никита Владимирович, да полно, будет... – бормотала она, всплёскивая ладонями и поминутно оглядываясь на прикрытую дверь, словно перед ней рыдал не шестилетний мальчик, а взрослый мужчина. – Будет уж, не плачьте... Спаси бог, не захворали ли? Говорите, говорите, уж я придумаю что-нибудь, поправим дело-то...

Он начал было рассказывать, но слова перемежались судорожными всхлипами, и Настя долго не могла, как ни старалась, ничего понять. Лишь через четверть часа, уничтожив слёзы рукавом и подолом рубахи, Никита сумел более-менее разборчиво объяснить, что его так расстроило. Настя сначала непонимающе разглядывала мальчика сощуренными зелёными глазами, затем взмахнула руками и рассмеялась:

– И всего-то?! Ахти, господи, а я уж спужалась, что истинное несчастье стряслось! Барин, золотенький, да вам ли из-за этих огольцов переживать да слёзы лить! Да вы Амалии Казимировне пожалуйста, ей только словечко молвить – и со всей деревни они к вам на двор соберутся! Такие игры вам покажут, что вы и во сне не видели! И в чехарду, и в бабки, и в жмурки с вами поиграют, да столько, сколько вы сами приказать изволите! Ваше слово господское, а их дело холопское, они для забавы вашей стараться обязаны, а не зубы скалить, свинюки! Ишь чего вздумали – над барином насмеяться! Да батюшка ваш их всех на конюшне взгреть велит, не до хохотушек станет!

– Настя, Настенька, пожалуйста, не надо... – горячо зашептал Никита, хватая девушку за руки и холодея при одной мысли о том, что крестьянские мальчики будут согнаны на господский двор, чтобы развлекать его. – Я не хочу, право, не хочу... Да мне и скучно с ними будет... Не говори никому, умоляю тебя! Я плакал оттого... оттого, что голова болит, вот!

Ложь была слишком явна, но Настя, приняв её за чистую монету, сразу же успокоилась:

– Ну, головку-то вылечим, это у вас с голоду, поди, я вам чичас штей налью – и как рукой снимет! А перед сном ещё забегу и с уголька святой водицей сбрызну! И думать обо всём забудете!

Никита молчал, всем сердцем желая, чтобы поскорей забыла обо всём сама Настя. Больше он не пытался подходить к крестьянским ребятишкам и играл один в заросшем саду и дальних комнатах. Досаждать своим обществом старшему брату он не смел, да и Аркадий не обращал на мальчика никакого внимания: у него тоже было множество занятий этим летом.

По окрестным усадьбам мгновенно разлетелся слух о том, что к старику Закатову приехал в отпуск старший сын-гусар, и Аркадия наперебой приглашали в гости. Прибывший из корпуса, красивый, прекрасно танцующий, великолепно умеющий поддержать беседу Аркадий был нарасхват, барышни теряли разум, и маменьки тщетно пытались напомнить им, что у Закатовых практически нет состояния, что все их деревни заложены и что опрометчиво выходить замуж лишь потому, что будущий муж служит в гусарах и великолепно вальсирует. Аркадий, со своей стороны, флиртуя у всех соседей напропалую, так никем и не увлёкся всерьёз. Причиной этому была Настя.

На другой день после прибытия старшего барчука в усадьбу отца Веневицкая вошла в девичью, где четырнадцать девушек усердно трудились каждая над своим уроком. Жёлтые

птичьи глаза экономки быстро обежали мастериц и остановились на Насте, низко склонившейся над коклюшками. Та испуганно подняла голову.

– Пойдёшь, дура, подашь молодому барину кофе, – раздался голос Амалии Казимировны. – Да смотри, кобылища рыжая, потрафить умеи, не то немедленно отправлю на конюшню!

Ни одна из девушек не вымолвила ни слова, но по девичьей разрядами молний полетели взгляды – насмешливые, завистливые, злые, ехидные... Настя и бровью не повела – лишь кивнула и поднялась с места.

Насте к этому времени уже сравнялось шестнадцать. Это уже не была худая, голенастая и угловатая крестьянская девчонка с красными от вечного недосыпания глазами. Она выровнялась, округлилась, рыжие спирали непокорных волос улеглись в длинную косу, россыпь золотистых веснушек на чуть вздёрнутом носу ничуть не портила её, и Настя справедливо стала считаться красавицей. Она вошла в спальню молодого барина с подносом, на котором красовался дымящийся кофейник, молочник, сахарница и чашка из приданого сервиза покойной Аполлинарии Петровны. Амалия проводила девушку взглядом, потом подошла, послушала под дверь, без улыбки перекрестилась и пошла по своим делам.

Настя вышла из барской спальни лишь спустя час – слегка растрёпанная, чуть зарёванная и не то растерянная, не то радостная. Целый день она молча проработала в девичьей, стуча коклюшками и словно не слыша жадных расспросов. Она не ходила даже обедать, за весь день не подняла головы и сплела целый аршин кружева. А вечером по дому пронёсся зычный голос Аркадия:

– Настя! Зайди ко мне! Эй, кто-нибудь, позовите мне новую горничную!

Настя, складывавшая в девичьей свою работу в обширное решето, вздрогнула, – и белое кружево развилось лёгкой паутинкой. Ахнув, Настя подхватила его, но кружево снова выпало из её дрожащих рук, упало решето, по полу покатались мотки ниток. По девичьей пронеслось сдержанное хихиканье.

– Молчать, подлянки! – приказала стоящая в дверях Амалия. – Молчать, твари!

Девушки испуганно примолкли. Наклонившись, Веневицкая подняла большой моток и велела ползающей на коленях Насте:

– Без тебя соберут. Ступай, коль барскую волю слышала.

Настя без единого слова бросилась вон.

Несколько дней вся дворня неутомимо судачила о связи молодого барина с Настькой-кружевницей. Сама Настя ни с кем об этом не говорила, и дворовые девки искренне обижались на неё:

– Ишь сразу какая стала! И нос задрала, и молчит, будто слово уронить жаль! Враз куда как горда стала! Было б чем гордиться! Курица рыжая...

Настя только улыбалась в ответ. Карьера её совершила головокружительный скачок: её перевели из кружевниц в горничные, выдали новое саржевое платье с полотняным фартуком, велели вытирать пыль, мести полы и прислуживать молодому барину. После бесконечного сидения над коклюшками несложная работа в комнатах казалась манной небесной. В девичьей Настьке люто завидовали.

– И чего только барин в ней отыскал... – пожимала плечами Наталья – рябая девка с тёмным худым лицом. – Рыжая, как лисица, в веснушке вся, взяться-то не за что – как есть кикимора! Поди, приворот на барина навела!

– Вольно ж тебе языком мести – приворот... – вздыхала тётка Марья. – Молодые они ещё, Аркадий Владимирович, вот и всё. Пусть потешатся, будет о чём зимой-то в казённом месте вспомнить...

– Настька-то рассказывает ли чего? Ведь слова из поганки не вытянешь! Давеча привязалась к ней: барин ласков ли? Подарки дарит? Ни словечка, паскудина, не промолвила! Фыркнула да пошла! Уж куда какую барыню из себя наладила, рыжуха проклятая!

– Ничего. Лето вскорости закончится, барин уедет, поглядим тогда, как она с задраным носом походит! – зловеще пророчествовала тётка Марья. – Барское дело короткое, побалуется и забудет. Уж знаем – не первый год, чай, на свете живём... Кому мы, дуры запечные, надолго-то нужны? Позабавиться только...

Если Настя и слышала такие разговоры, то виду не подавала и казалась совершенно счастливой. Целыми днями она носилась по дому, тёрла, высоко подоткнув юбку, полы, полировала старую мебель, мыла окна, иногда пела звонким голосом деревенские песни. Никита, который ещё не понимал этих перемен в доме, всё же заметил, что Настя гораздо чаще, чем прежде, показывается в барских комнатах, и что она по-особому смеётся, когда рядом с ней оказывается Аркадий, и что он что-то шепчет ей, а она, вся красная, отмахивается от него рукавом и шепчет: «Полноте, барин, шутить, вот ведь срамotник на мою душу взялся...» Сначала Никита просто радовался тому, что Настя стала весёлой, что у неё есть новое платье... Но, постоянно бывая то в людской, то в девичьей, где на него не обращали никакого внимания и при нём вели все разговоры, Никита начал понимать, что между братом и Настей происходит что-то непонятное и, кажется, дурное и грязное. Он видел, как девки шепчутся о Насте с ехидными и злыми лицами, как мужики с кривыми усмешками пожимают плечами, а старый Егорыч вздыхает: «Что ж, дело обычное... Девка – судьба подневольная... И при дедах наших тако ж было...» Слыша всё это, Никита усиленно размышлял. С одной стороны, получалось, что Настя и Аркадий делают что-то греховное и «паскудное», с другой же – самое обычное и никого не удивляющее.

Однажды он решился спросить Настю, которая, во всё горло распевая, мыла пол у него в комнате:

– Братец делает с тобой дурное?

– Дубовые две-ери всю ночь проскрипе-ели... Ась, барин? – выпрямившись и тяжело дыша, Настя устало посмотрела на него. – Об чём спросить изволили? Недослышала я, дура...

– Я спрашиваю – Аркадий делает с тобой дурные вещи? Все так говорят...

Настя, ахнув, выронила тряпку.

– Барин, миленький, Никита Владимирович... Да как же это можно?.. Вы вовсе себе напрасно в голову взяли... А всё девки наши, мерзавки, языками метут! Ни стыда ни совести у подлюх! Не слушайте никого, не думайте себе глупостей! Я вашему братцу, и вам, и папеньке вашему раба покорная, божьей и господской воле покоряюсь, и всё! И ничего тут дурного нету, а наоборот, господь велел покоряться! Да боже мой, меня Амалия Казимировна со свету сживут, ежели узнают, что вы... Вы уж, за-ради Христа, не говорите ей!

– Я... не скажу. – Одна мысль о разговоре с Веневицкой, которой он боялся до полу-смерти, ужасала Никиту. – Не беспокойся.

– Вот и спасибо вам... – Настя, неловко оправив рукава рубахи, продолжила тереть половицы. Но она больше не пела, и по её слишком размашистым, нервным движениям было заметно, что слова Никиты крайне взволновали её. Расстроенный этим, так ничего и не понявший, мальчик взял свою деревянную сабельку и ушёл в сад.

В ночь перед отъездом Аркадия в Петербург поднялся ветер. Сучья старой разлапистой липы стучали по крыше дома, в трубе что-то утробно завывало, и Никита, боясь домового, то и дело нырял с головой под своё одеяло. Но даже туда, в душную темноту, проникали приглушённые причитания из-за стены.

– Ой, барин, сердечушко моё, да за-ради Христа возьмите вы меня с собой... Пропаду я тут без вас, как есть пропаду-у-у...

– Вот ведь глупая, куда же я тебя возьму? – Аркадий смеялся, но голос его казался раздосадованным. – В полк? Денщиком, что ли, мне тебя брать? Сама рассуди...

– Ой, барин, да что же мне делать-то? Что ж мне, дуре, теперь поделывать?

– Бог ты мой, да делай то же, что всегда! Присматривай тут за братцем... Жди меня. Будущим летом, даст бог, я приеду в отпуск. Да перестань ты рыдать!

– Ой, барин, миленький, простите... Ой, люблю я вас, видит бог, люблю... Ой, да как же мне, как же мне тут без ва-а-ас...

– Вот что, Настасья, прекрати голосить! – сурово повысил голос Аркадий. – Ты сейчас перебудешь весь дом! Ну, выйди воды попей, что ли... А лучше всего ступай спать. Мне вставать на рассвете, а тут ты со своими причитаниями...

– Ой, Аркадий Владимирыч, не гоните, ой, последнюю-то ночушку на вас поглядеть... Не извольте гневаться, я сейчас, сейчас... – послышались торопливые сморкания, всхлипы.

Вскоре наступила тишина. А затем раздался удовлетворённый голос Аркадия:

– Ну, вот и умница. Ты ведь и сама всё понимаешь, верно? Иди ко мне, и, не обессудь, будем спать. Иначе меня с утра не поднять никакими силами.

Через некоторое время до Никиты донёсся ровный, спокойный храп брата. Но Настя не спала, мальчик слышал это: в ночной тишине отчётливо раздавался каждый её всхлип. Уже перед рассветом, сквозь дрему, Никита услышал, как горничная поднялась и на цыпочках вышла из комнаты: нужно было ставить самовар и согреть воды для умывания.

Известие о беременности Насти грянуло только в конце зимы. Всё открылось, когда срок был уже больше семи месяцев: как Насте удавалось так долго скрывать своё положение, не мог понять никто. Амалия долго расспрашивала бледную, плачущую Настю в девичьей, затем на всякий случай дала ей две оплеухи и двинулась к барину.

Осторожно, с запинками и оговорками, Амалия рассказала всё как есть, туманно намекнув на возможного отца ребёнка. Полковник выслушал, нахмурился, пожал плечами.

– И только сейчас это обнаружилось?

– Сами извольте видеть... Эта мерзавка пряталась до последней возможности. Как прикажете поступить?

– Что она сама говорит?

– Рыдает. – На сухих губах Амалии появилась презрительная улыбка. – Говорит, что любила молодого барина.

– Гм-м-м-м... – Полковник нахмурился. – Но Аркаша на её счёт не распорядился никак...

– Осмелюсь предположить, что Аркадий Владимирович мог ничего не знать. Как прикажете поступить? Вы напишете Аркадию Владимировичу?

– Нет... Нет. Думаю, не стоит его беспокоить этими пустяками, у него служба, к чему это всё? – быстро и будто испуганно заговорил полковник. – Не велика беда, мы тут как-нибудь и сами... Семь месяцев, говоришь? Ну да, ну да... Ах, подлая, и впрямь молчала-то сколько времени! Теперь же нужно как-то выдать её замуж...

– Вы совершенно правы, – склонила голову экономка. – Прикажете мне заняться этим?

Однако полковник решил всё же написать сыну: он беспокоился о том, что, приехав летом и узнав о том, что Настька выдана замуж без его ведома, Аркашенька может расстроиться. О беременности Насти Закатов сообщил сыну двумя короткими строками, вставив эту весть между сообщением о смерти пастуха Гараськи и ценами на коноплю в уезде. Ответное письмо от сына пришло месяц спустя, в нём о Настьке не было ни слова, и судьба её, таким образом, была решена. Старый полковник с чистой совестью распорядился искать девке жениха.

В Тришкине нашли пятидесятилетнего сухорукого вдовца, который до сих пор прекрасно управлялся в своём нищем хозяйстве без бабы. Вдовец приехал в Болотеево, дабы повалиться

в ноги барину и слёзно просить избавить его от ненужной женитьбы. Но старый полковник не пустил мужика на глаза и велел лишь передать, что барская воля для холопов закон, а бунтовать он, полковник Закатов, в своём имении не позволит. Был назначен день венчания. Настя ходила бледная, с сухими воспалёнными глазами, никому не говорила ни слова.

В один из вечеров Никита, сидя у себя в горнице босиком и в одной рубашке, ожидая, пока Настя расстелет для него постель, спросил её:

– Ты совсем не хочешь выйти замуж?

Настя обернулась, испуганно посмотрела на мальчика, всплеснула руками... и вдруг тяжело рухнула перед ним на колени:

– Барин... Никита Владимырьч, родненький... Смерть моя пришла, видит бог... Сил нету... А только замуж я не пойду... Разве я повинная в чём, разве я того хотела? Разве барской воли послушалась? Никита Владимырьч, благодетель, упрсите батюшку за-ради Христа, чтоб меня при вас оставили... Я, коли разрожусь, младенца дядьке отдам, он знает, у нас с ним сговорено... А сама вам, как допрежь, верой-правдой служить буду... Я ли вам верная не была, я ли вам не трафила... Упрсите батюшку, Никита Владимырьч, век за вас бога молить буду... у...

– Настя, что ты... Что ты такое говоришь... – Никита с ужасом смотрел на Настю, ползающую у его ног и с плачем целующую ему руки. – Настя, но папенька не послушает меня... Я, конечно, могу, но ты же знаешь...

– Ради бога, Никита Владимырьч! Ради матушки вашей покойной, сходите! Я и сама рвалась, так Упыриха, Амалия-то Казимировна, не пустила, душа её проклятая... А вам она поперёк дороги не станет! Никита Владимырьч, не оставьте вы меня, дуру горькую, на вас одно упование осталось...

– Ну, хорошо, хорошо... Я... да, что смогу... Только не плачь.

Никита слез со стола, храбро сунул босые ноги в валенки и зашагал к двери. Настя, не вставая с пола, смотрела ему вслед огромными измученными глазами.

Никита медленно, на ощупь пробирался по тёмным сеням на половину отца. Его трясло от холода и страха; в глубине души он чувствовал, что ни за что не осмелится просить отца за Настю. Просить папеньку – который никогда не обращал на него, Никиту, внимания, который за всю жизнь не сказал сыну и десятка слов, который, конечно же, не станет его слушать... Никита был твёрдо уверен в том, что отец может просто убить его за непочтительность... но тем не менее продолжал упорно идти. К счастью, никто не встретился ему: все дворовые находились на людской половине, там же была и Веневицкая: Никита ёжился, слыша, как она распекает кого-то в девичьей.

Последняя надежда была на то, что отец уже лёг спать. Но из-под двери его кабинета пробивалась полоска света. Никита тяжело вздохнул. Перекрестился, пробормотав слабым голосом: «Господи, помяни царя Давида и всю кротость его...» – и постучал в дверь.

– Амалия Казимировна, это вы? Входите, – послышался знакомый голос. Никита, с трудом преодолевая дрожь в ногах, толкнул дверь и шагнул внутрь.

– Это я, папенька.

Отец, сидевший за столом и что-то писавший в расходной книге, изумлённо поднял глаза.

– Никита? Отчего ты не спишь?

– Я сию минуту... простите... – Никита, замирая от собственной храбрости, подошёл на подгибающихся ногах к столу. Но посмотреть на отца он так и не смог, и голос его звучал чуть слышно.

– Никита, я не понимаю тебя! – произнес отец. – Что ты говоришь? Подойди ближе! Ты не болен ли?

– Нет, я здоров... Папенька... Умоляю вас, не отправляйте Настю... – пробормотал Никита. Послышалось шуршание, стук. Не поднимая глаз, он понял, что отец встал из-за стола, и по спине мальчика пробежал мороз. «Сейчас... Вот сейчас он меня убьёт...»

– Что? Какую Настю?.. Ах, эту... – короткое молчание. Затем отец несколько раз прошёл по комнате. Никита ждал с закрытыми глазами. Ему уже было всё равно, что ответит отец – этот большой, страшный, чужой человек,двигающийся сейчас перед ним, – лишь бы только поскорей убежать отсюда. От неожиданно раздавшегося голоса Никита вздрогнул.

– Поди прочь. И запомни: если ты ещё раз осмелишься перечить моей воле или воле твоего брата, прикажу высечь. Вон!

Никита поклонился. Вышел за дверь и медленно, держась за ледяную бревенчатую стену, пошёл обратно.

Настя ждала его, всё так же сидя на полу. Она больше не плакала. Увидев вошедшего мальчика – бледного, с трясущимися губами, – она сразу всё поняла. Медленно, держась за край кровати, поднялась, подошла к Никите и обняла его.

– Бедный вы мой, бедный... И я-то, дура, нашла кого спсылать... Отчаялась просто вовсе, весь ум помутился, вы уж простите меня... Не попало вам за меня? Простите, барин, миленький, в эту мараль вас ввела... Видать, кончилась судьба моя. А вам спасибо, что страсть через меня приняли. Вы один меня пожалели, вы один...

Прижимаясь к Насте, Никита чувствовал, как она дрожит, и жался к ней всё сильнее, шёпотом упрашивая:

– Не плачь... Бог милостив... Он поможет...

– Неправда, барин... Нет у него милосердия и жалости нет... Ну, видно, так тому и быть. Ложитесь, Никита Владимыч. – Настя чуть отстранила мальчика от себя, посмотрела в его лицо потемневшими, странно изменившимися глазами. – Ложитесь... и лихом меня не поминайте. Любила я вас. И братца вашего любила. Вы уж как-нибудь ему про то скажите... коль слушать захочет.

– Хорошо, я скажу, – растерянно пообещал Никита. Настя вымученно улыбнулась, перекрестила его, как обыкновенно делала это перед сном, дунула на свечу и, невидимая в темноте, вышла за порог.

Среди ночи Прокоп Силин проснулся от толчка в бок.

– Прокоп... Проснись... Плачет кто-то...

– Сдурела? Спи... Ветер воет.

– Верно говорю, на дворе плачет!

– Так выдь поглядь, дура...

Матрёна, жена Силина, встревоженно бормоча и крестясь, спустила с лавки босые ноги. Старшая невестка, спавшая с мужем на печи, тоже начала слезать.

– И мне, мамаша, тоже помстилось... Ай, думаю, кот орёт, так ведь не весна...

Женщины вышли на крыльцо. Февральская ночь была темным-темна, луну затянуло снежными тучами, смутно белели сугробы, над которыми клубами носилась вьюга.

– Слышите, мамаша?

– Примолкни, бестолочь... – Матрёна долго слушала, склонив голову набок. – Верно, здесь где-то. Неси, Варька, лучину!

Невестка кинулась в сени. Вскоре вернулась с горящей щепкой, слабо светящейся красноватым огоньком. Бьющееся пятно света легло на заметённое снегом крыльцо.

– Ой! Мамаша! Ой, вот оно, вот!!! Ле... лежит...

На средней ступеньке лежал тряпичный свёрток. Попискивания уже не было слышно. Ахнув, Матрёна неловко подхватила свёрток на руки и метнулась в дом. Варька, шлёпая босыми пятками, помчалась следом.

В доме поднялся переполох, все вскочили, забежали, бестолково суетясь; кто-то из баб раздувал угли в печи, кто-то торопился греть воду, кто-то зажигал лучину. Детей прогнали на полаты. Матрёна в кольце столпившихся вокруг баб разворачивала на лавке свёрток.

Это был крошечный, только что родившийся мальчик, посиневший от холода и даже уже не плачущий, а лишь вздрагивающий всем тельцем.

– В баню, живо, там жарко, топлено! – распорядилась Матрёна. – Нюшка, возьми его на грудь и иди! Молоко есть у тебя? Попробуй дать там... Да живей, коровища, не наспалась... Я с тобой пойду! Варька, качай люльку!

Нюшка, недавно родившая младшая невестка Силиных, с жалобными вздохами принялась одеваться. Матрёна торопливо помогла ей, и обе женщины, завернув младенца, побежали через тёмный двор в баню. Оставшиеся, и мужики и бабы, вновь высыпали на крыльцо.

– Вот тут она вошла! – Старший из сыновей Прокопа освещал пучком лучин снег у ворот. – Вот, ещё и след не вовсе заметён! Вошла, подлая, дитё положила и... ушла.

– Куда ушла-то, в каку сторону? – Прокоп торопливо подошёл ближе. – На снегу видать иль занесло? Ведь недавно всё было-то, коль дитё замёрзнуть не успело! Вот ведь, тоже, паскуда, – хоть бы в окошко стукнула, что, мол, подберите ангела божьего, пока не смёрз...

– Думала, может, собаки залают?

– А отчего ж они, всамделе, не лаяли? Будто свой кто вошёл... – На миг Прокоп запнулся... и тут же яростно заорал на весь двор: – Эй, Гришка, Сёмка, а ну за мной! Покуда след не занесло, живо!!!

Следы вели через поле, к лесу. Метель заметала их на глазах спешащих по едва заметной цепочке мужчин. До леса было далеко, и, прежде чем мужики пересекли поле, следы были занесены совсем. До рассвета лазили по сугробам, искали, кричали, светили факелами под ёлками на опушке. Наутро к поискам присоединилась вся деревня. Но лишь к полудню у замёрзшего болота, среди топорщившихся из-под снега жёлтых палок камышей нашли скорчившееся тело Насти с пятнами крови вокруг.

Когда она успела родить, никто не знал: ни одна из дворовых, спящих рядом с Настей в девичьей на полу, ничего не слышала и не видела. Впрочем, измученные за день работой девушки спали так крепко, что их не разбудили бы и три родившихся младенца. Никто не мог сказать, почему Настя отправилась ночью, в холод и метель, прочь из тёплой усадьбы, на деревню, для чего оставила ребёнка у дяди. Малыша удалось отогреть, он охотно взял грудь и утром сосал молоко жадно и торопливо.

– Вот ведь тоже, положение... – яростно скрёб шею Прокоп, глядя на темноволосый затылочек, уютно пристроившийся на локте Нюшки. – Дура она, Настька, дурой родилась и дурой подохла...

– Замуж, видать, не хотела, – подала голос Матрёна.

– Вестимо, чего ей там хотеть! – сквозь зубы процедил Прокоп. – Надобна была она, что ль, Никишке-бобылю? Да ещё с выблядком-то? Бил бы её кажин день, покуда не уходил совсем... Настька ж понимала, чужая... вот сама себя и заморозила, окаянная. Хорошо хоть, ума достало младенца подкинуть... Тьфу! Ты-то, дура, чего ревёшь?! Змеищи вы все, бабы, все до единой, да и пустоголовые к тому ж! Прости меня, господи...

Прокоп сердито перекрестился на образ, замолчал. В наступившей тишине отчётливо слышалось чмокание младенца и всхлипы Нюшки. Матрёна, хмурясь, смотрела через голову невестки в замёрзшее окно.

– С младенцем-то что теперь поделать, Матвейч? – со вздохом спросила она.

– А что тут поделаешь... – Прокоп нахмурился ещё больше. – Нынче барину пойду доложусь. Как распорядится, так и будет. В дворовые, верно, запишут его.

– Матвейч, а ты б попросил... – искательно начала Матрёна, приближаясь и заглядывая мужу в глаза. – Попросил бы барина-то, поклонялся бы... Настька ведь нам не чужая была, от



нас её в девичью-то и взяли! Получается, что, кроме нас, и родни у ангела божьего нету, а мы, слава богу, не нищие... Барину-то, поди, всё едино, где младенчик расти будет? А у нас тут и Нюшка кормит, и далее-то вскормить смогём, не переломимся...

– Умны вы все, бабы, больно... – проворчал Прокоп. – А ну как барин захочет при себе его оставить? Сама, чай, знаешь, чьей выделки младенец-то...

– Чего я – всё село знает... – вздохнула Матрёна. – Только для ча он барину-то? Коль нужен был бы – верно, не наладил бы Настьку замуж? При себе бы и оставил вместе с младенцем... Так он, наоборот, скорее с глаз долой... И то диво, отчего так долго тянули. Обыкновенно-то враз спроваживают, как только заметно станет...

– Вот то-то и оно! – Прокоп покряхтел, снова зачем-то покосился на чёрный образ в углу и решительно поднялся. – Что ж, пойду до барина, авось допустит. Как положит – так и будет.

Дело решилось быстро: барину явно хотелось поскорее избавиться от этих неудобных хлопот и позабыть о происшествии. Было решено оставить новорождённого младенца в семье Силиных.

Никите никто ничего не рассказывал, но по суете и бестолковой беготне дворни, по испуганным и заплаканным лицам девок он понял, что ночью стряслось неладное. На его вопросы: «Где Настя?» – никто ему не отвечал, все бормотали что-то невразумительное, крестились и старались поскорее убежать. Целый день он не мог ни у кого даже допроситься поесть, пока, наконец, кухарка Феоктиста не спохватилась, что барчук с утра не евши, и не бухнула перед ним в людской миску щей.

– Феоктиста, где Настя? – тихо спросил Никита, прикусывая горбушку. И испуганно выронил хлеб, увидев, как круглое рябое лицо кухарки жалко морщится и по нему бегут одна за другой слезинки.

– Она умерла... да? – одними губами спросил он. Феоктиста трубно высморкалась в грязное полотенце, перекрестилась. Шёпотом сказала:

– Вы уж помолитесь, Никита Владимирович, за Настькину душу грешную. Сгубила она свою душеньку... Навек, горемычная, сгубила... Вы помолитесь, ваша молитовка детская, святая, впереди всех до бога дойдёт... Авось поможет Настьке-то.

Никита молчал. Молчал и никак не мог проглотить щи, вставшие в горле. Наконец, ему это удалось, он выбрался из-за стола и опрометью бросился прочь из людской. Никита не знал, куда собирается бежать, и сам не понял, как очутился на пустой, холодной половине дома. И только там, сжавшись в комок на пыльном полу, он заплакал. И плакал до тех пор, пока не почувствовал, что на смерть замёрз и даже пальцы не гнутся от холода. Вернувшись в людскую (никто не заметил его отсутствия), он умылся у рукомойника и полез на полати. Там и заснул в конце концов, опустошённый и измученный.

Настю похоронили на деревенском кладбище. В имении о ней больше никто не говорил: разве что дворовые девки, и те шёпотом. Никита первое время страшно скучал, плакал ночами в подушку, раза три даже сбегал тайком на Настину могилу, но постепенно всё начало забываться, и воспоминание о весёлой рыжей девушке мало-помалу стиралось из детской памяти, причиняя уже не мучительную боль, а тихую, чуть царапающую сердце печаль.

Однажды, поздней осенью (Никите уже было десять лет) он в одиночестве играл на деревенском пруду. Срезав себе ножом толстый прут из лозы, он сосредоточенно стругал его, время от времени отогревая дыханием покрасневшие пальцы, и так увлёкся, что не услышал ни шелеста подмёрзшей травы на берегу, ни быстрых шагов. От громкого чмока опущенного в воду ведра мальчик очнулся, поднял глаза и вздрогнул. В двух шагах от него стояла цыганка.

Она была совсем молода – лет пятнадцати. Чёрные, отливающие синевой, грязные волосы выбивались из небрежно заплетённых кос, падали на худые плечи, обтянутые линиями красной кофтой. Между выступающими, сизыми от холода ключицами блестел образок. Большие

тёмно-карие глаза девушки смотрели на испуганного мальчика с интересом и чуть заметной насмешкой.

– Спужался, барин? – улыбнувшись, спросила она. – Не бойся, я за водой только. Сейчас возьму и уйду.

Никита оторопело молчал. Эта цыганка не поклонилась ему, как сделала бы любая крестьянская девка при встрече, в её весёлом голосе не было подбострастия, и он не знал, как отвечать ей. Девчонка тем временем, пыхтя, вытянула из пруда наполненное ведро, бухнула его рядом с собой, щедро окатив водой грязные ноги, и Никита поразился: как же ей не холодно?.. Словно угадав его мысли, цыганка небрежно потёрла одну ногу о другую, ещё больше размазав грязь, снова пристально поглядела на мальчика в упор, подумала о чём-то... и вдруг расхохоталась, всплеснув руками, – заразительно и дробно:

– Да что ж ты, барин, столбом дорожным стоишь? Аль примёрз?! А ну, тырлыч-марлыч-тьфу – отомри!!!

С этими словами она черпнула из своего ведра воды и брызнула на Никиту. Он вздрогнул, хотел было побежать, не смог – и, вконец перепугавшись, зажмурился и закрыл лицо руками.

От короткого прикосновения он вздрогнул всем телом. Осторожно открыл глаза. Цыганка стояла совсем рядом, обнимала его за плечи и обеспокоенно заглядывала в лицо.

– Да что ж ты, вот ведь глупый какой! С пустяка испугался! Ну, давай оботру морду-то! – Она деловито вытерла его грязным рукавом кофты, подула на волосы, снова улыбнулась, открыв ряд прекрасных белых зубов, – и Никита невольно улыбнулся ей в ответ.

– Ну? Чего дрожишь? Небось думаешь – вот сейчас цыганка в торбу засунет, да?

Он кивнул, всеми силами желая, чтобы она снова рассмеялась, – и цыганочка не заставила себя долго ждать: от звонкого хохота с чёрной, облепленной палым листом глади пруда нехотя снялся и полетел к болоту косяк уток.

– Ду-у-урень! – отхохотавшись и вытирая тыльной стороной ладони выступившие на глазах слёзы, протянула она. – Да сам подумай, на кой ты мне сдался?! У меня братьев четверо да ещё две сестры! И все жрать просят с утра до ночи! Ещё одного принесу – мать меня проклянёт, ей-богу! Да ведь ты и большой уже совсем! Глянь, почти с меня ростом-то! А у тебя деньги, барин яхонтовый, есть?

– Нету, – с сожалением признался Никита, внутренне холодея: сейчас уйдёт... И действительно, по коричневому лицу девчонки пробежало разочарование.

– Не уходи! Пожалуйста, подожди! – Он торопливо, неловко полез за пазуху, вытащил серебряный образок на цепочке. – Вот... если хочешь – возьми, мне не жаль!

Цыганка внимательно осмотрела образок, покачала головой.

– Нет, милый, это не возьму. Дорогая вещь, держи при себе. Может, поесть что найдётся?

Никита с готовностью вытащил краюшку хлеба, всученную ему утром кухаркой. Цыганка просияла, откусила от краюхи и спрятала её за пазуху.

– Отчего ты не ешь? – удивился мальчик.

– Сестрёнкам отнесу, – невнятно (рот был забит) сказала она. – Спасибо, барин, изумрудный!

– Меня Никитой зовут, – сообщил он. – А тебя?

– Каткой, – встав, девчонка встряхнула юбку, ничуть не смущаясь тем, что подол намок в воде и облепил колени. – Мы у вашего крестьянина, дяди Прокопа, на зиму встали, ты приходи к нам! Приходи, весело будет, попоём-попляшем тебе!

Никита несмело улыбнулся. В ответ снова сверкнули белые зубы, взлетела откинутаая со лба выющаяся прядь волос, прошуршали раздвинутые камыши – и Катки след простыл. Мальчик замер, точно заколдованный, глядя на качающиеся сухие стебли, а в глазах ещё стояли смеющиеся карие глаза и весёлая улыбка юной цыганки.

Цыгане появлялись в Болотееве каждую осень. В конце октября по подмёрзшей дороге в село торжественно вкатывались шесть скрипучих цыганских телег, набитых узлами и детьми. Рядом с телегами шли взрослые цыгане – сумрачные, бородатые. Усталые женщины в потрёпанных юбках шлёпали босиком по грязи. За табором бежал табун из двух десятков сильных, отъевшихся на летней траве лошадей. Год за годом цыганская семья, откочевав лето, прибывала на зимний постой к Прокопу Силину. Договор между цыганами и Силиным был давний: Прокоп предоставлял цыганам на зиму свою старую хату, цыганских лошадей ставил в свою огромную конюшню и пускал постояльцев по надобности в баню. Цыгане же платили хозяину деньгами за постой и оставляли в конюшне конский навоз, считавшийся лучшим удобрением на свете. Навоз весной вывозился на пашни Силиных, возбуждая невыносимую зависть всего окрестного крестьянства. Другие мужики тоже старались залучить к себе на зиму цыган, но те только смеялись: ни у кого, кроме Силина, не было такой обширной конюшни и просторной хаты, способной вместить в полном составе огромное цыганское семейство.

Всю зиму табор жил у Силиных, цыганки вместе с невестками и дочерьми Прокопа копошились по хозяйству, стирали бельё у проруби, кололи дрова, носили воду. Цыгане возились на конюшне, помогая хозяйским сыновьям, не скрывая собственных секретов, а ведь известно, что никто лучше цыгана не умеет ходить за лошадьё и лечить её. Старый Силин не препятствовал дружбе своих сыновей с цыганскими парнями, справедливо полагая, что из этих отношений можно извлечь только пользу.

Маленьким Никита побаивался цыган: Настя не позволяла ему даже приближаться к их телегам, страшным шёпотом убеждая, что эти черномазые черти воруют детей и только и ждут, как бы засунуть маленького барина в мешок и увезти. Никита верил – и не приближался к табору. Но сейчас Каткины слова убедили его в том, что цыганам он совершенно не нужен, и глущее любопытство, смешанное с желанием ещё раз увидеть эти озорные карие глаза и сверкающую улыбку, сосало сердце всю ночь, не давая заснуть.

На другой день, к вечеру, пряча под подолом армячка узелок с чёрствым караваем, пирогами с кашей и дюжиной сухих карасей – всем, что удалось выпросить и стянуть на кухне, – Никита храбро отправился в Болотеево. День был ветреный, холодный, воду в придорожных колеях схватило ледком, над лесом тянулись, как разорванный кумач, багровые полосы заката. Никита шёл по твёрдой, замёрзшей дороге, и с каждым шагом решительность его всё уменьшалась. До сих пор ему не приходилось гостить в крестьянских избах, он не знал, как примет его семья Силина, и тем более – остановившиеся у него цыгане. «Но она же сама пригласила меня... И Настя сколько раз говорила, что я могу приходить к её дяде... – беспомощно рассуждал он, всё замедляя и замедляя шаг. – И Силин – батюшкин раб, не может же он так просто взять и меня прогнать... И цыгане... Я ведь несу им гостинец, они захотят взять... Зачем же нет?» Но эти взволнованные рассуждения лишь уменьшали его храбрость, и в конце концов, дойдя до высоких, крепких ворот Силиных, Никита попросту остановился. Скорее всего он повернул бы назад, в имение, но как раз в этот миг ворота открылись, на вечернюю улицу с гомоном высыпала целая толпа разновозрастных ребятишек, и среди них – Катка.

Никита растерянно смотрел на неё. Он не сразу заметил, что среди ребят были и встрепанные, грязные, смуглые до черноты цыганята, и белоголовые дети Силина, что все они, разом примолкнув, озадаченно разглядывают его. Он видел только большие тёмно-карие глаза девушки, и она широко улыбнулась ему.

– Пришёл? Не замёрз? Брилья-янтовый... Ну, пойдём, пойдём к нам!

– Я принёс поесть! – торопливо сказал Никита, выставя вперёд свой узелок. Дети радостно загалдели, кинулись к нему, обступили со всех сторон. Катка обхватила его за плечи.

– Ах ты, ненаглядный мой! Вот спасибо тебе! Идём, мы тебе споём, спляшем! Чяворалэ, джяньти, пхэнэньти даякэ, со тыкно рай явя!<sup>1</sup>

Двое цыганят сорвались с места и с воплями кинулись к старому дому. Катька взяла было руку Никиты, но в это время по высокому резному крыльцу дома торопливо сошёл сам Прокоп Силин.

– Барин, Никита Владимырьч! Здравствуйте! Милости просим в дом! Самоварчик сей минут будет, – спокойно пригласил Силин, оглаживая чёрную, подёрнутую ранней сединой бороду. Из-за его спины выглядывали лица домочадцев.

– Благодарю тебя, – как можно твёрже ответил Никита, не замечая, что голос его звучит пискливо и испуганно. – Но я пришёл вот к ней... к цыганам.

Силин внимательно взглянул на него из-под мохнатых бровей, подумал о чём-то... и вдруг рассмеялся.

– А ведь смел ты через край, Никита Владимырьч! Так-таки и к цыганам моим идёшь, не боишься? Батюшка-то знают, куда ты угулять изволил?

– Чего бояться? – сердито встряла Катька, топая о землю босой пяткой. – Не звери лесные, поди, не загрызём барина! Я давеча обещала сплясать для них!

– Вон куда! – снова усмехнулся Силин. – Ну, у этой девки пляска дорогого стоит! Поди, барин, посмотри! Эх она тебе с ходу головёнку-то заморочила... А ты, Катька, батьке скажи, что вскорости и наши подойдут, и Ванька с гармонией тож.

– Вот спасибо тебе, Прокоп Матвеич! – сверкнув зубами, поклонилась Катька, подмигнула Никите и резво потащила его за собой, к старому дому, из которого уже высыпались на двор заинтересованные цыгане.

От испуга Никите показалось, что их не меньше сотни – чёрных, смуглых, взъерошенных, с диковатым блеском в глазах. Они обступили его, сверкая белозубыми улыбками, о чём-то звонко переговариваясь на своём языке, с интересом и без всякого подобострастия глядя на маленького барина. Катька, сердито покрикивая на смеющихся цыган, увлекла Никиту за собой в чёрную, низкую дверь дома.

В большой горнице шёл жар от натопленной печи. Заслонка была убрана, и рыжий свет горящих поленьев падал на бревенчатые стены. Прямо на полу были навалены разноцветные перины и горы подушек, на низеньком столике стоял неожиданно новый, блестящий самовар, возле которого степенно тянули из блюдец чай несколько стариков и бабка в перевязанной через плечо шали. Принесённый узелок давно исчез из рук Никиты, и он не помнил, кому отдал его. Катька толкнула мальчика на перину, куда-то убежала, тут же вернулась, сунула в руку ломоть хлеба, намазанного мёдом, и умчалась снова. Вместо неё возник лохматый мальчишка с огромными чёрными глазами и горбатым носом. Никита сжался от испуга, но цыганёнок улыбнулся во всю ширь, сверкнув зубами:

– Дай куснуть, барин!

Никита с готовностью разломил хлеб, хотя сам ничего не ел с самого утра.

– Изволь... Как тебя зовут?

– Васькой. А тебя?

– Никитой... Сколько тебе лет?

– Не знаю, может, восемь, а может, и десять, – Васька пожал худыми плечами. – На губьях и зубьях сыграть тебе?

– Как это?! – поразился Никита.

Васька лукаво блеснул глазами из-под спутанных волос, выпятил вперёд и без того толстые губы и принялся с удивительным проворством шлёпать по ним четырьмя пальцами, изда-

---

<sup>1</sup> Ребята, идите, скажите маме, что маленький барин пришёл! (Цыганск.)

вая дребезжащий звук, отдалённо напоминавший «Камаринского». Никите сие музицирование крайне понравилось, и он тут же пожалел, что не может изобразить в ответ ничего подобного.

– А я... А я могу тебе сказку рассказать, – неуверенно сказал он. – Страшную, про рассохинского упыря.

– Да? – недоверчиво переспросил Васька. – Ну, тады пожди, – и исчез. Никита огорчился, подумав, что цыганёнок обиделся на что-то, но тот немедленно снова возник из полумрака, волоча за собой целую гроздь ребятишек поменьше.

– Вот, им тоже Расскажи!

Цыганята расселись вокруг, возбуждённо поблёскивая глазами. Никита зачарованно рассматривал их. Совсем крошечный кудрявый малыш спал на руках сестрёнки, которая казалась ровесницей Никиты, две оборванные девчушки обнимали друг дружку за плечи, пузатый мальчишка ожесточённо чесал спутанную голову... Все они заинтересованно смотрели в лицо Никиты, ожидая обещанной сказки, и одна из девочек даже нетерпеливо дёргала его за рукав, требуя начинать. Никита видел – они ничуть не боятся его, не тяготеют им, как деревенские ребятишки. Ободрённый такими мыслями, он начал одну из своих любимых историй, бессознательно подражая манере сторожа Егорыча, в тех же местах понижая голос, делая драматические паузы или растягивая слова:

– ...И вот пошла-а-а Марья в подпол, а там... сидит упырь, да стра-а-шный такой, что кровушка стынет! Спаси Христос и Святая Пятница!

По широко раскрытым глазам цыганят, по тому, как они дружно крестятся и ахают, Никита видел, что рассказ его производит впечатление, и, продолжая, одновременно старался припомнить, сколько таких сказок он знает и на сколько вечеров их хватит. Он рассказывал уже довольно долго, когда из другого угла комнаты донеслась вдруг хрипловатая мелодия гармонии, и почти сразу же в неё вплелись два звонких девичьих голоса:

Ай, калина, ай, малина  
Во сыром бору росла!

– Ну что ж ты?.. Дальше-то что было, уморил её упырь иль нет? – затрясли Никиту в двенадцать рук, но он уже не слышал и не чувствовал ничего, потому что возле печи, в полукруг света, под рёв развернувшейся гармонии выпрыгнула Катька. Чёрные волосы, выбившиеся из кос, копной лежали на её плечах, красноватые отблески огня прыгали на улыбающемся лице.

– Вот! Вот! Вот! – приговаривала она будто в ожидании, вздрагивая всем телом и вытянувшись в струнку. И – вдруг сорвалась, взвилась в воздух, полетела, ударила босыми пятками в гудящий пол, забила худыми плечами, и руки её разметнулись, как два крыла, подбросив вверх копну волос, и восхищённо заорали цыгане. Какие-то оборванные девчонки тоже попрыгали в круг и задрожали плечами, но Никита видел только Катьку, только её сияющую улыбку и карие глаза и где-то в глубине сердца знал, чувствовал со странной, ноющей болью, что уже никогда, что бы ни случилось с ним в жизни, плохое ли, хорошее ли, – он не забудет этого.

Уже поздним вечером Никита собрался домой. Он и не вспомнил бы об этом, если бы Прокоп Силян не сказал ему:

– Вас уж, поди, в доме-то хватились, ступайте с богом, Никита Владимирович. Не пошли господь, батюшка рассерчают да не пустят боле к нам. Завтра снова милости просим, и мы, и цыгане рады будем, а сегодня уж позднёхонько. Ступайте, Сенька мой сопроводит.

– Ни к чему, сама барина провожу, – вызвалась Катька, легко вскакивая с места. Вместе с ней провожать Никиту на двор отправилась целая ватага цыганят, наперебой напоминающих гостю о его обещании прийти завтра и рассказать новую историю – ещё страшнее первой. За воротами ребятишки отстали, и на деревенскую улицу Катька и Никита вышли вдвоём.

– Дэвлалэ<sup>2</sup>, снег идёт! – изумлённо сказала Катька, задрав голову. С затянутого тучами неба мягко, бесшумно падали снежные хлопья. На самой верхушке большого силинского дома сидела луна, обливая блёклым светом скаты тесовой крыши. В прорывах облаков мерцали синие, холодные звёзды. На мёрзлой земле уже улеглись белёсые островки снега.

– Ступай в дом, ты же замёрзнешь! – прошептал Никита, испуганно глядя на босые Каткины ноги.

– Цыганки, барин, не мёрзнут! – улыбнулась она. Крепкая холодная рука обхватила его ладонь. – Идём, не то и впрямь хватятся тебя, скажут – цыгане украли!

«Вот было бы славно...» – подумал Никита. И до самого дома не произнёс ни слова, словно страхась расплескать в себе незнакомое ощущение счастья, крепко держась за жёсткую Каткину руку и время от времени робко взглядывая на неё снизу вверх. Она улыбалась в ответ, тут же хмурилась, глядя на всё усиливающийся снег, и сильнее тянула Никиту за собой. Когда они подошли к усадьбе, снег уже валил стеной. Катька смахнула его со своих волос, присела на корточки перед Никитой, ловко вытерла пальцами ему под носом, засмеялась, шепнула:

– Смотри, приходи завтра! – вскочила и исчезла в снежной пелене.

Вопреки опасениям Никиты ни отец, ни Веневицкая, ни дворовые не заметили, что он пропал из дома на целый день. В усадьбе давно привыкли, что младший барчук гуляет где хочет, и всю зиму он беспрепятственно пробегал в Болотеево, к цыганам. Там к нему быстро привыкли, и даже семья Силина, к немалому облегчению мальчика, перестала встречать его всем составом у ворот, низко кланяясь и желая здоровья и долголетия. Катька неизменно вылетала ему навстречу, блестя глазами, зубами и серьгами, и, подхватив мальчика под мышки, кружилась и прыгала с ним по двору.

– Ай, Никитушка пришёл, драгоценный мой пришёл, изумрудный мой пришёл, разбрильянтовый пришёл! – бурно распевала она выдуманную ею же песню, и её кудрявые грязные волосы, пахнувшие дымом, падали на лицо мальчика, и он задыхался от радости, хватая цыганку за руки и лихо прыгая вместе с ней. Наскакавшись вволю, Катька увлекала его в дом, брала с шумными изъяснениями благодарности скромные подношения, которые Никите удавалось прихватить на кухне: ломти хлеба, сахар, какие-нибудь домашние соленья. Однажды он пришёл ни с чем, заранее страхась, что его прогонят. Но Катька лишь посмеялась его растерянному виду и сама сунула ему в руку полуобсосанный, покрытый крошкой табака и пыли кусочек сахара.

– Пожуй вот, бариночек мой несчастный... Худо тебе на свете живётся?

– Я не знаю, – удивлённо и честно ответил Никита, глядя в блестящие глаза цыганки. – Должно быть, не худо...

– Да как же? Мамки нет, тятка и думать о тебе забыл... Братец-то твой любит ли тебя?

– Да... Нет... Не знаю, – вконец запутался Никита. Ему и в голову не приходило, что брат Аркадий, такой взрослый, такой красивый, такой умный, который служит в гусарах в самом Петербурге, будет любить его, Никиту, младшего ничтожного брата. Почему, за что?..

Видимо, мысли эти отразились на его лице, потому что Катька больше ни о чём не спросила – лишь вздохнула протяжно и горько, обхватила его за плечи и повлекла в дом. А там с весёлым гомоном сбежались цыганята, потащили его в угол, где были навалены перины, затекали, задёргали, торопя: дальше, дальше рассказывай... И Никита забыл о своей короткой грусти.

Катька не всегда сидела с ним: у неё были дела по хозяйству, она бегала за водой, стирала в проруби бельё, помогала матери ухаживать за малышами, иногда ходила со взрослыми цыганками гадать в дальние деревни. Но, управившись, она непременно садилась рядом с детьми, иногда – вместе с двумя-тремя подругами, такими же смуглыми, чёрными, растрёпанными,

---

<sup>2</sup> Боже (цыганск.).

так же всегда готовыми рассмеяться. И Никита, смущённо улыбаясь, вытаскивал подарок для неё – несколько лоскутков, выпрошенных в девичьей. И чем ярче были эти крошечные отрезки материи, тем сильнее радовалась Катька:

– Ах ты, Никитушка мой изумрудный, да какое же спасибо-то тебе! Дай расцелую... вот так и вот так! Ну, чайлэ<sup>3</sup>, завидуйте: самое богатое одеяло у меня будет, раньше всех замуж выйду!

Подруги завистливо бурчали, что дуре Катьке не видать жениха ни с одеялом, ни без него, но она, не слушая их, тут же доставала иголку с ниткой и аккуратно сшивала тряпочки между собой, присоединяя их к уже довольно большому лоскутному полотну. Никита зачарованно следил за её работой, за тем, как мелькают над шитьём ловкие коричневые пальцы, как шевелятся, словно живые, падающие на плечи кудри, как дрожит тень от опущенных ресниц на смуглых щеках. Иногда, увлечшись работой, Катька принималась вполголоса напевать. Она любила протяжные русские песни, и почти все их Никита слышал прежде в девичьей и людской, но у Катьки они выходили странно преломлёнными, словно отразившимися в разбитом зеркале. По-иному звучала знакомая мелодия, по-другому выпевались привычные слова, меняясь в протяжном голосе цыганки.

Ай да зорька, зорька ты моя,  
Затуманилась, желанная,  
Запечалилась, вечерняя...

Часто в гости к цыганам приходила и деревенская молодёжь. Все вместе они пели песни, плясали, играли в горелки и жмурки, брызгались водой, а на Святках цыганские девчонки были нарасхват: за ними табунами ходили девки, умоляя погадать на суженого. Очень быстро все привыкли, что среди цыган постоянно вертится младший барчук, и перестали обращать на него внимание, чему Никита был только рад.

Чаще прочих, пожалуй, интересовался им старший Силин.

– Так что, батюшка тебя, барин, в ученье отправлять не изволит?

– Я не знаю... Я не спрашивал его, – искренне удивлялся Никита.

– Та-а-к... А годочков тебе сколько?

– Десять... Летом будет одиннадцать.

– А грамоте разумеешь?

– Нет.

– Угу... – вздыхал Прокоп, уже четверых сыновей выучивший в приходской школе чтению и счёту. – А что ты сюда к нам ходить изволишь, батюшке известно?

– Нет... Но он и не спрашивает.

– Ясно, ясно... – Прокоп задумчиво тёр в кулаке бороду. – Ну что ж, Никита Владимырьч, пойдём лошадок смотреть.

Никита сиял. С наступлением зимы в огромной конюшне Силина оказывалось три десятка лошадей – хозяйских и цыганских. Это был небольшой табун красивых крепких лошадок, за которыми хорошо и любовно ухаживали и, не давая застаиваться в конюшнях, время от времени «вываживали» на воле. Для Никиты не было большего наслаждения, чем усесться верхом впереди Семёна Силина или старшего Катькиного брата Ваньки, – глазастого, курчавого, похожего на весёлого разбойника парня. И – лететь, лететь во весь опор по белому полю рядом с мчащимся табуном, вздымая столбы снежной пыли, визжа от восторга и чувствуя, как сильная, крепкая рука бережно придерживает тебя, не давая соскользнуть с лошади. Вскоре Никита стал целыми днями пропадать в конюшне. Иногда силинские парни в шутку учили его

---

<sup>3</sup> Девчата (цыганск.).

драться: все они были страстными кулачными бойцами, и другие деревни отказывались принимать вызов Болотеева, зная, что в его рядах выйдут братья Силины. Цыганские мальчишки тоже умели постоять за себя, и очень скоро Никита заметил, что они напрочь перестали поддаваться, борясь с ним: «Да ты сильный какой, барин, с тобой не шути!» При нём цыгане ухаживали за своими лошадьми, лечили их, толковали об их достоинствах и изъянах, а однажды Никите довелось даже наблюдать за рождением жеребёнка. О том, что в уголке конюшни сидит, чуть дыша, барчук, вспомнили лишь тогда, когда слипшийся длинноногий, дрожащий комочек уже лежал подле матери на соломе.

– Испугался, барин?! – озабоченно спросил его Катькин отец, бородатый дядька Степан.

– Ни... ни капельки! – икнув, отважно сказал Никита.

– Э-э, молодец, барин! Лошадник будешь! – расхохотался цыган. – А ну, скажи, как по-цыгански будет «хорошая лошадь»?

– «Лачо граст», кажется...

– А!!! Чачо!<sup>4</sup> Пошли бог счастья тебе! – хохотали взахлёб цыгане. Никита и сам не знал, когда, в какой миг начал понимать их речь, когда отдельные слова и звуки слились в осмысленный разговор. Катька бурно хохотала и хваталась за голову, когда Никита, сбиваясь и запинаясь, пробовал говорить с ней по-цыгански.

– О-о, да ты настоящий цыган, бариночек мой! Можно уже и кочевать с нами ехать, можно, да!

– А ты возьмёшь меня? – тихо спрашивал Никита. И сердце падало, когда Катька вдруг теряла свою улыбку и в её карих глазах вспыхивал не то испуг, не то тоска.

– Что ты, что ты, бариночек мой, господь с тобой... Как же можно? Мы – люди бедные, дикие... Сам видишь – зимой без валенок бегаю! А ты – барин, господин большой, поди, скоро всяческим наукам учиться поедешь...

– Я никуда не поеду! Я уйду с тобой кочевать! – упрямо повторял Никита, холодея при одной мысли о том, чтобы остаться без Катьки, без цыган, без лошадей. – Я стану, как вы, цыганом, я же умею говорить по-вашему, меня ваш Ванька научил чистить лошадь, я всё знаю! Почему ты не возьмёшь меня?

Глаза Катьки наполнялись слезами, и она крепко обнимала Никиту, прижимала к себе.

– Бедный мой, бедный, бедный... – шептала она, вытирая слёзы о его армячок, а изумлённый Никита смотрел на иссиня-чёрную россыпь её волос и не понимал: отчего она жалеет его и почему плачет? Почему, если весной он всё равно уедет с ней?

О своём желании уйти весной с цыганами Никита не говорил никому, но намерение это крепло с каждым днём. Чувствуя, что Катька по какой-то непостижимой причине не хочет брать его с собой, он начал готовиться к отъезду тайно. Дома, за печью, уже были спрятаны несколько сухарей, ножик со сломанным лезвием, небольшая вышитая подушка, подаренный отцом в день ангела серебряный рубль и спички. Уже прошёл зимний перелом, миновали страшные крещенские морозы, дни стали длиннее, неяркое солнце подолгу зависало над сумрачными далями. Понемногу лучи его стали теплеть, закапало с застрех и наличников, снег под заборами потемнел и ноздревато просел. В глазах цыган появился шальной блеск. Они подолгу стояли во дворе, запрокинув лохматые головы и глядя в наливающееся синевой, словно оттаявшее небо, в котором даже галки орал уже по-весеннему. Цыганские ребята часами пропадали на улице, их не брал никакой мороз, и у Никиты дух захватывало, когда Васька с друзьями, босые, полуголые, с разбегу, с визгом и воплями влетали в лужу, ломая тоненький ледок и поднимая брызги. «Я тоже так смогу! Привыкну и смогу!» – обещал он сам себе. План его был прост: когда цыгане соберутся в дорогу, ему надо будет незаметно спрятаться в одной из телег и вылезти наружу, когда табор будет уже далеко от усадьбы. И тогда...

---

<sup>4</sup> Правильно (цыганск.).



О, тогда он целое лето будет бродить с ними, взбираясь в скрипучей телеге с холма на холм, и будет ездить верхом на вороном жеребце вместе с Васькой, и смотреть по вечерам, как пляшет у костра, встряхивая волосами и бубном, Катька, и засыпать, положив голову ей на колени, вдыхая горьковатый запах дыма. Острое, почти мучительное ощущение близкого счастья подступало к горлу, и Никита считал дни и часы до тепла. Он уже знал: цыгане тронутся с места, как только появится первая трава.

И трава появилась: полезла острыми стрелками из-под камней, из-под старых брёвен, густо разрослась на солнечных взгорках. И настал день, когда табор на шести телегах, с бегущим сзади табуном отошавших от зимней бескормицы лошадей, провожаемый веселыми напутствиями деревенских, выкатил за околицу Болотеева. Позади всех, с пёстрым узлом за плечами, шла Катька, глаза её блеснули от слёз. Она, не обращая внимания на насмешки братьев, поминутно оглядывалась на толпу деревенских, ища среди них маленького барина. Но Никита не пришёл провожать цыган, его не было среди крестьянских детей, долго бежавших вслед за цыганскими телегами. Он, задыхаясь от жары и пыли, лежал на самом дне телеги, незаметно пробравшись под гору перин и подушек. В спину немилосердно кусала блоха, в плечо упиралась ручка самовара, но он терпел изо всех сил, стараясь не шевельнуться и ни в коем случае не чихнуть. Сквозь щёлку между досками телеги ему видно было крошечное пятнышко света. Никита прождал, как ему показалось, целую вечность, глядя на эту голубую полосу. В конце концов пятнышко потускнело, мальчик уверился, что уже наступил вечер, и начал осторожно выбираться из-под вороха подушек.

Появление его было подобно удару молнии. Разом прекратился детский смех, женские разговоры, табор встал. Жмурясь от бьющего в глаза света, Никита с изумлением убедился в том, что вечера и в помине нет, что солнце попросту скрыто набежавшим облачком и что они находятся всего лишь в двух верстах от Болотеева, возле села Тришкино. Лица обступивших телегу цыган были озадачены и нахмурены, никто не улыбался.

– Дядя Степан, я еду с вами, я так решил! – вежливо сообщил Никита отцу Катьки. Тот побряхтел, ожесточённо сплюнул в дорожную грязь и, резко повернувшись, крикнул:

– Чяёри!<sup>5</sup>

Откуда-то вылетела Катька, взмахнула руками, схватилась за голову, рассмеялась было – и тут же залилась слезами. Никита непонимающе смотрел на неё. О чём она плачет, если они не расстаются? А Катькин отец, разом потемнев, что-то торопливо говорил дочери на своём языке, и такого злого и растерянного лица Никита никогда не видел у добродушного дядьки Степана. От испуга он никак не мог вникнуть в смысл быстрой речи цыгана и понял лишь несколько слов, заставивших его похолодеть: «палал»<sup>6</sup> и «сыгидыр»<sup>7</sup>.

– Дядя Степан! – отчаянно закричал он, спрыгивая с телеги. – Я не хочу палал... Я не пойду домой! Возьмите меня с собой, пожалуйста, возьмите! Я никому не буду мешать, обещаю! Возьмите, это всё, что есть!

Увидев серебряный рубль в дрожащей детской руке, Катька взвыла в голос, повалившись навзничь на телегу. Дядя Степан нахмурился ещё больше, подошёл к мальчику, наклонился. Глядя в упор тёмными, без блеска глазами из-под лохматых бровей, сказал:

– Не могу, барин, родимый. Не могу. Ступай подобру-поздорову домой, Катька проводит. Нельзя тебе с нами никак. Слава богу, что схватились ещё, а то бы беды не миновать... Ступай с богом. Осенью снова приедем, увидимся.

И, не глядя больше в несчастное, мокрое от слёз лицо мальчика, он отстранил его руку с протянутым рублём, выпрямился и, бросив дочери несколько отрывистых слов, зашагал

<sup>5</sup> Дочка (цыганск.).

<sup>6</sup> Назад (цыганск.).

<sup>7</sup> Скорее (цыганск.).

к лошадям. Цыганские телеги, скрипнув, тронулись с места. Катька, горестно вздохнув, встала, взяла за руку Никиту и повернула с ним назад.

Сначала он тупо, покорно шёл за ней, не сопротивляясь и ещё не понимая, что всё для него кончено. Но, когда увидел, что Катька в открытую, не таясь, рыдает и слёзы бегут по её искажённому отчаянием лицу, срывающимся шёпотом сказал:

– Я умру без тебя.

– Бариночек мой, господи! – Катька рухнула в грязь, встала на колени, крепко-накрепко прижала мальчика к себе, уткнулась мокрым лицом в его худенькое плечо. – Бедный мой... Одного тебя бросаю, родненький... Прости, не могу я! Видит бог, не могу... Кабы я одна была, Никитушка! Я б тебя взяла, на край света увезла, и никого не надо было бы, а так... Ведь всем цыганам, всему табору беда будет, коли споймают! Скажут – цыгане господского младенца украли, всех тогда – в тюрьму, в острог, прав отец! Ах ты, Никитушка, бедный мой Никитушка, сиротинка моя, никому не нужная-я-я...

Никита не плакал. Молча сотрясался всем телом, зажмурившись и стиснув зубы так, что их ломило. Не заплакал и тогда, когда Катька, всхлипывая и вытирая локтем лицо, встала, снова взяла его за руку и зашагала вперёд. До самой усадьбы они шли молча.

Катька довела Никиту до известной им обоим дыры в заборе, снова встала перед ним на колени, перекрестила и, вскочив на ноги, не оборачиваясь, быстро пошла прочь. Никита смотрел ей вслед до тех пор, пока красная кофта не растворилась среди зеленеющих холмов. Затем сел на холодную, ещё не прогретую солнцем землю и закрыл глаза.

Он не помнил, сколько просидел так, не открывая глаз, не чувствуя ни холода, ни сырости. Не помнил, кто нашёл его, кто отвёл домой. Урывками всплывали в памяти только чёрные стены людской, свет огарка, взволнованные лица кухарки Феоктисты и Веневицкой, чей-то испуганный шёпот, огромные тени в углу... Что-то холодное касалось лба, чьи-то руки переворачивали его, кто-то бормотал: «Лихоманка... Сглазили... Цыганка проклятая сглазила... Ох ты, прости господи, что делать-то?..» Никита хотел отвечать – и не мог.

Всю весну мальчик провалялся в жестокой лихорадке, и дворовые уверены были, что маленький барин не выживет. Веневицкая даже не сочла нужным сообщать о болезни Никиты отцу: «Всё равно мальчик не жилец, а на доктора только будут лишние расходы». Но полковник Закатов всё-таки вынужден был послать за доктором – после того как кухарка Феоктиста на свой страх и риск прорвалась в кабинет барина, рухнула ему в ноги и взвыла, что младший барчук кончается. Доктор приехал из уезда, прописал капли и обтирания, усмехнулся на осторожное предположение Феоктисты о цыганском сглазе, взял три рубля, отобедал и уехал.

– Он же всё равно умрёт, Владимир Павлович! – отрывисто сказала Веневицкая, с ненавистью косясь на встревоженную кухарку. – Думаю, стоит послать за священником.

– Подождём, – мрачно сказал полковник. – Может, ничего ещё... обойдётся.

Он не ошибся: Никита выжил. И очнулся тёплым майским вечером, когда за окном едва смеркалось. Через подоконник лезла голубая кипень цветущей сирени, от неё сладко и терпко пахло в комнате, где-то над ухом тонко пищал комар. Никита лежал неподвижно, смотрел в низкий, затянутый паутиной потолок, чувствовал, что очень хочет пить и что надо бы позвать кого-нибудь. Потом вспомнил: «Цыгане уехали. Катька ушла». – и острая боль толкнула под сердце. Смертное, безнадёжное отчаяние прошло, притупилось долгой болезнью, но глухое чувство тоски осталось в душе навсегда. До дня прощания с Катькой на дороге Никита не думал о том, как несчастлив. Теперь же он знал и понимал это. И чувствовал, что изменить этого нельзя, а можно только притерпеться и жить дальше.

До самого лета он пролежал в постели, почти всегда один: у дворни было множество дел, развлекать больного мальчика было некому, и только кухарка, забежавшая покормить его и дать лекарство, иногда успевала рассказать ему сказку или коротенькую побасенку: «У попа был двор, на дворе – кол, на колу – мочало. Не сказать ли сказку сначала?» Никита улыбался,

хотя глупая присказка ничуть не забавляла его. Феоктиста убегала, а он поворачивался к окну и подолгу молча смотрел в небо. А с наступлением темноты так же молча поворачивался к стене и засыпал.

В середине июня, когда Никита уже окреп настолько, что начал вставать и выходить на двор, на солнышко, неожиданно приехал в короткий отпуск брат Аркадий. Никита не видел брата несколько лет и очень удивился, увидев быстро идущего к нему по садовой дорожке высокого и широкоплечего молодого человека в красивой офицерской форме.

– Добрый вечер, вы, верно, к папеньке? – вежливо осведомился он, вставая с плетёного кресла. – Он на работах, ещё не возвращался. Но я сейчас распоряжусь, чтобы...

– Никита! – вдруг недоумённо и радостно воскликнул молодой военный. – Брат, ты ли? Да тебя узнать нельзя! Что ж ты такой прозрачный, душа моя?! – Серые глаза красавца радостно вспыхнули, и только по ним Никита узнал старшего брата.

– Ну, здравствуй, братец, сколько времени не видались! – Аркадий сел рядом с креслом прямо в траву, улыбнулся, сверкнув зубами из-под усов. – Что-то ты, ангел мой, зело дохл... Харчи у папеньки плохи? Или хворал?

– Здравствуйте... – пролепетал Никита. – Я да... был нездоров... Но это неважно...

– Как так неважно? Отец мне ничего не писал... Чем же ты тут занят? – Аркадий осмотрелся, словно ища чего-то. – Что ты сейчас, например, читаешь?

– Я?... Ничего.

– Как?..

– Я не умею.

– Не умеешь читать? – Аркадий перестал улыбаться. Никита, испугавшись этой тени на лице брата и подумав, что чем-то рассердил его, поспешил сказать:

– Я знаю «Отче наш» и «Верую». И ещё стихи.

– «Верую» – это хорошо. – Брат по-прежнему не улыбался. – А стихи какие выучил? Да не бойся, расскажи!

Никита, пожав плечами, начал декламировать:

Ванька Таньке не женился,  
Понемножку волочился,  
Стала Танька тяжелеть...

– Довольно, – скупое усмехнулся Аркадий. – Это всё?

– Ещё знаю про то, как за церковным перелазом подрались трое разом... Поп, пономарь да уездный секретарь...

– М-да... Яс-с-сно. – Аркадий встал, прошёлся по траве. Никита следил за ним тревожным взглядом. Задать вопрос он не смел и очень обрадовался, когда Аркадий наконец остановился, повернулся к нему и с улыбкой сказал:

– Чем же ты здесь занят всё время?

Никита украдкой вздохнул. Ему мучительно не хотелось ничего рассказывать, но он боялся рассердить старшего брата ещё больше и медленно, запинаясь, начал говорить. Аркадий слушал внимательно, глядя в лицо мальчика сощуренными серыми глазами, изредка кивая, слегка улыбаясь. Никите ещё никогда не удавалось так надолго привлекать чьё-то внимание своей персоной, и он неожиданно для самого себя рассказал брату всё – и о Силиных, и о цыганах, и о Катьке, и даже о том, как пытался уехать с табором. Ещё легче было говорить от того, что старший брат не удивлялся, не пугался и не ругал его. Когда Никита закончил, Аркадий некоторое время молчал. Затем неожиданно усмехнулся:

– Да-а, брат... бурная у тебя, однако, жизнь. Вот тебе и провинция! Ну что ж, грамотей, пошли в дом. Где, говоришь, папенька изволят быть?

Вечером Никита не мог заснуть. Молча лежал в своей комнатке, залитой голубоватым светом луны, стоящей прямо в окне, и прислушивался к разговору за стеной. Молодой, сердитый голос брата резко выговаривал:

– Что это значит, отец, я, право, не понимаю! Что тут творится у вас?! Никита совершенно дикий! Даже крестьянские мальчишки в его годы хоть чему-то обучены дьячком, а он мне изволит рассказывать «За церковным перелазом»! Почему вы не предприняли ничего для его образования, почему не взяли гувернантки, учителя?! Почему он болтается, как бродяжка, целыми днями один по селу? Он чуть не помер этой весной, – а вы мне даже не написали! Его чуть было не увезли цыгане, – а вы, я убеждён, об этом и не знали! Слава богу, они выкинули его из телеги под Тришкином, а если бы нет?! Что, я угадал, вы об этом приключении даже не слышали?! Хорошо же вы заняты вашим сыном!

– Но, Аркаша, помилуй, что ты такое говоришь... – послышался голос отца, и Никита безмерно удивился: никогда он не слышал у грозного, неприступного папеньки такого робкого, жалкого, умоляющего голоса. – Ты же знаешь, как мы стеснены в средствах... Я целыми днями занят на работах, рук не покладая, не сплю ночами, считаю каждый грош, чтобы содержать тебя в полку, и...

– Я вам благодарен всей душой!!! Но вы, кажется, изволили напрочь забыть, что у вас есть ещё один сын! И что он тоже нуждается в вашей заботе! И что ему нужно получать образование и...

– Аркадий, милый, какое образование? У нас едва хватило средств...

– Отдать в корпус! – загремел Аркадий. – И не говорите мне, что денег нет! Найдите! Продайте Рассохино, лес за Вострином, что угодно! Да ведь его могут взять на казённый счёт, нужно только подать прошение, при дворе, я уверен, помнят ваши заслуги! Да что уж тут говорить о корпусе, если вы его даже грамоте выучить не удосужились! У деревенского дьячка, чёрт возьми!!!

– Аркадий, не забывайся, я твой отец! – опомнившись, повысил голос полковник.

– Никитке вы тоже отец! – не спасовал Аркадий. – И не вспоминали об этом, кажется, все одиннадцать лет! Да вы же сами могли хотя бы обучить его азбуке! Вместо этого он всю зиму просидел в мужицкой избе среди цыган! И выучился лишь драться, рассказывать глупые стихи и нюхать у коней под хвостами! А вы... вы... Чёр-р-р-рт!!!

Воцарилась тишина, перебиваемая лишь громкими, злыми шагами по комнате, от которых сотрясались, казалось, стены. Никита, дрожа от страха, сжался под одеялом и зажмурился, уверенный, что сейчас произойдёт что-то ужасное. Да... отец выгонит Аркадия из дому, проклянёт, лишит наследства, а его, Никиту, просто убьёт за то, что тот осмелился нажаловаться старшему брату. Но, к его изумлению, отец молчал. Смолкли и шаги Аркадия. И, наконец, снова послышался робкий, виноватый голос старшего Закатова:

– Аркадий... Аркаша, ты прав, разумеется... Я, верно, должен был подумать... Но...

– Так значит, корпус? – жёстко перебил его Аркадий.

– Аркаша, но как же?.. Ведь экзамены... Ты сам только что говорил: Никита неграмотен... Я, разумеется, могу поднять старые знакомства, обратиться к Марье Прокофьевне, к графу Браницкому...

– Вот и обратитесь! Лучше поздно, чем никогда. – Некоторое время Аркадий молчал, вышагивая по комнате. – Я же, со своей стороны, займусь Никитой. Времени, конечно, мало, вато, но хоть грамоте постараемся обучить, а там видно будет. Ох, отец, как же вы могли...

Дальнейших слов брата Никита не услышал, потому что в виски словно ударило обухом. Он выскочил из-под одеяла, босиком пробежал по голубой от лунного света комнате к окну, перевесился через подоконник в сад, жадно вдыхая всей грудью свежий, пахнущий цветами ночной воздух. «Я выучусь... поступлю в корпус...» – изумлённо думал мальчик – и не чувствовал при этом никакой радости, только бесконечное изумление и испуг. Луна ушла

за крышу сарая, и комната погрузилась в темноту. Никита вернулся в постель, накрылся с головой одеялом и уснул.

Он так никогда и не узнал, что побудило Аркадия столь решительно заняться его судьбой. Но красавец гусар сдержал своё обещание и весь отпуск потратил на занятия с братом. Теперь утро целиком посвящалось занятиям азбукой, арифметике, французскому и немецкому языкам и Закону Божьему. Книги были куплены в уездном городе. Никита, у которого до сих пор не было ни одной книжки, относился к ним со страшным почтением и часами мог разглядывать, бережно перебирая жёсткие, ещё новые страницы. Грамота далась ему неожиданно легко: то ли Аркадий оказался способным педагогом, то ли Никита – старательным учеником. Его не столько тянуло оказаться в неведомом корпусе (в душе он был непоколебимо уверен, что не выдержит экзамена), сколько всеми силами хотелось угодить старшему брату. Впрочем, это было нетрудно: Аркадий никогда не сердился и не повышал голоса, терпеливо, не выходя из себя, объяснял буквы и цифры, иногда хохотал, звонко и откровенно, когда Никита, весь потный и красный от натуги, прочитывал какое-нибудь «толцыте и обрящете»:

– Ты, брат, будто баржу против течения тянешь! Не пыхти, передохни! У тебя и так отлично получается, просто шармант! В жизни не думал, что возможно за десять дней выучиться азбуке! Что значит наследственные закатовские мозги! Купаться тебя не отпустить ли?

Но об этом Никита и помыслить не смел. Впрочем, Аркадий не мучил его сверх меры и, отзанимавшись с братишкой два-три часа по утрам, отпускал его на свободу до послеобеденного времени, которое было отведено для самостоятельного чтения.

Никита искренне был благодарен брату, который не пожалел на него своего отпускного времени. Но близки они с Аркадием так и не стали: слишком велика была разница в возрасте и слишком мало времени они проводили вместе. Это были отношения не родных братьев, а учителя с учеником. История с Настей уже была стёрта в воспоминаниях Никиты, он едва помнил, какую роль в ней играл Аркадий, но какая-то горькая, непонятная обида на старшего брата до сих пор крошечной занозой сидела в сердце. И Никита по-прежнему говорил Аркадию «вы» и не искал его общества.

Чуда, впрочем, не произошло: подготовить Никиту в корпус за неполный месяц не удалось. Он выучился под началом брата грамоте, четырём действиям арифметики, азам французского и немецкого языков – и только.

– Ничего, брат, не грусти, – утешал Аркадий. – На будущий год поступишь непременно, уж в этом я тебе ручаюсь. Tobой тут всерьёз займётся Амалия Казимировна, я уже разговаривал с ней. Я уверен, она подготовит тебя в корпус превосходно. Только старайся, не балбесничай и прочти всё то, что я тебе советовал. Книги я вышлю тебе из Петербурга.

Веневицкая действительно вспомнила о своём институтском прошлом и занялась с младшим барчуком науками. Теперь каждое утро Никита садился за книги и сам не знал – нравится ему это или нет. Будь его воля, он вместо уроков с удовольствием ушёл бы на конюшню к Силиным. Учился он, впрочем, прилежно, был послушен и, обладая хорошей памятью, с лёгкостью запоминал целые страницы из книг. Амалия, обычно скупая на похвалу, часто хвалила его отца:

– Вы не поверите, Владимир Павлович, как быстро Никита схватывает предмет! Особенно математику! Способный невероятно, кто бы мог подумать! Как вы правы, что занялись его образованием, из него может получиться в будущем значительная персона!

– Да?... Ну, молодец, молодец, – рассеянно говорил отец, коротко взглядывая на сына и тут же поворачиваясь к старому сторожу, стоящему у дверей. – Что, Егорыч, от Аркашеньки писем не было?

– Не было, ваша милость... да откуда же, когда почта только третьего дня была? И на той только неделе Аркадий Владимирович к вам писать изволили. Теперь уж, видно, до Покрова...

– Ах, да ведь ему, верно, нужны деньги, там какая-то подписка в полку, он упоминал прошлым разом...

– Упоминал, вы и выслали... О новых писано не было.

– Да? Ну и слава богу, слава богу. Ступай.

После обеда Никита был свободен от уроков и, как и прежде, никем не расспрашиваемый, уходил бродить по окрестностям. С полей уже убрали хлеб, нивы уныло топорщились скошенным жнивьем, над ними орала вороны. Однажды, уже в конце октября, Никита, сидя у пустой, блестевшей лужами дороги, целый день следил за тем, как улетали журавли. Они кружились в затянутом тучами небе, крича так тоскливо и жалобно, что замирало сердце, а с окрестных полей к ним серыми нитями поднимались новые и новые птицы. Уже к вечеру стая собралась, выстроилась неровным клином и, мерно взмахивая крыльями, потянулась к дальнему лесу. Никита всматривался в исчезающих среди туч журавлей до рези в глазах. Наконец те растаяли совсем... но вместо них появились какие-то точки на горизонте. Уверенный, что у него просто рябит в глазах, Никита крепко зажмурился и некоторое время сидел так. Когда же он снова взглянул на дорогу, чёрные пятна уже приняли точные очертания телег и лошадей, послышался усталый разговор, лай собак. Никита снова закрыл глаза. И не двигался с места до тех пор, пока цыганский табор не поравнялся с ним.

– Барин, Никита Владимирыч, вы ли? А выросли-то как, суший жених! – вдруг весело окликнули его, и Никита увидел дядьку Степана – такого же чёрного, с кудрявой бородой, в заляпанной грязью голубой рубашке, с кнутом за поясом. Из-за спины у него выскочил Васька – страшно выросший за лето, грязный, лохматый, в рваной рубашке.

– Ох ты, барин, здоров будь!

– Здравствуйте... – еле выговорил Никита. – А где же... где Катька?

Дядя Степан вздохнул, улыбнулся:

– Замуж наша Катька вышла, барин. Уехала. С мужниной семьёй ещё весной ушла.

– Уехала?.. – одними губами переспросил Никита. В глазах у него потемнело. Он неловко схватился рукой за борт телеги, несколько раз вздохнул. Слабо, растерянно улыбнулся, пожав плечами, – и пошёл через сжатое поле к усадьбе. Цыгане некоторое время озадаченно глядели ему вслед. Затем Степан вздохнул, прикрикнул на свою лошадь – и табор снова тронулся по раскисшей дороге к деревне.

Цыгане, как и прежде, остановились у Прокопа Силина, и Никита снова стал приходить туда. О Катьке он больше никого не расспрашивал. Там, как и прежде, его встречали весело и шумно, цыганята легко принимали его в свои игры, восхищаясь тем, что за лето он не забыл их язык. Веневицкая ворчала, когда её подопечный сразу после уроков натягивал тулупчик, прыгал в валенки и уносился прочь со двора:

– Что это за увлечение, не понимаю! Целые вечера просиживать в мужицкой избе! Чему там может научиться мальчик вашего круга? Никита, будьте же благоразумны, там совершенно неподходящее для вас общество, цыгане, мужики, – пфуй! От вас постоянно воняет лошадьми, вы от них в конце концов нахватаетесь насекомых, бр-р-р! Право, я пожалуюсь Владимиру Павловичу!

– Да папенька знает, – уверял её Никита. Веневицкая вздыхала, возводила блёклые глаза к потолку, недовольно бормотала по-польски. Однажды она и в самом деле решилась пожаловаться полковнику, но тот, по обыкновению, выслушал её рассеянно, быстро проговорил: «Ну ладно, ладно...» – и немедленно заговорил об Аркадии. Веневицкая вздохнула и смирилась.

В сидении над книгами прошёл целый год. На следующую осень Никита отправился в Московский кадетский корпус. Сопровождала его Веневицкая: отец остался в имении.

Из экономии ехали на своих лошадях, в дорожном дормезе, напоминавшем неряшливо обшитую кожей коробку на колёсах. Дорога была долгой и мучительной: по крайней мере, для экономки, которая беспрестанно охала, жаловалась и ругалась на постоянных дво-

рах. Никита же, за всю свою двенадцатилетнюю жизнь не выезжавший дальше папенькиного села Рассохина, напротив, молчал весь путь, поражённый происходящим вокруг. Всё было ему интересно: и мелькавшие за окном допотопного дормеза сжатые поля, и тронутые ранним осенним золотом перелески, и деревенские церкви, и немногочисленные ярмарки, и шум уездных городов. Иногда он закрывал глаза и представлял, что едет на цыганской телеге, что рядом с ним сидят черноголовые, смуглые детишки, а рядом идёт, ловко ступая по грязи босыми ногами, Катька. Но мечты то и дело прерывались испуганными причитаниями Веневицкой: «Егор, держи правее, правее держи, там же колея, вот остолоп! А теперь левее! Да что же ты, пся крев, – пьяным напился?! Ну, дай только в имение вернуться!» Никита вздыхал, открывал глаза и снова начинал смотреть на проплывающие мимо поля.

В приёмном зале Московского кадетского корпуса былолюдно: мальчики уже съезжались для начала учёбы. Никита вошёл под высокие, тёмные своды, держась за руку Веневицкой. Та усадила его на деревянную скамью у стены и, наказав сидеть смирно и никуда не уходить, отправилась с письмом от полковника Закатова в руках искать ротного командира. Никита сидел на скамье, ёжился (в приёмной было холодно) и с интересом посматривал по сторонам. Несколько мальчиков, окружённых родными, точно так же сидели на скамьях. Один взахлёб рыдал в объятиях матери, худенькой блондинки, рыдающей так же самозабвенно. Другой, высокий, с холодноватыми чертами лица, сдержанно выслушивал наставления немолодого лысоватого господина в майорском мундире. Третий, рыжий и веснушчатый, воодушевлённо перепихивался на кулаках с младшими братишками, и все трое чуть слышно хихикали.

– Вот, Миша, тут, я думаю, можно... – послышался рядом спокойный женский голос, и Никита, вздрогнув, обернулся. – Вы ведь позволите, молодой человек?

– Разумеется, – охрипнув от смущения, ответил он и, поднявшись, вежливо поклонился даме лет сорока в строгом траурном наряде. Дама улыбнулась ему, и Никита увидел, что она, несмотря на траур, очень хороша собой: смугловатое полное лицо с родинкой возле губ, карие мягкие глаза, спокойная улыбка. Рядом с ней стоял худенький мальчик в коричневом костюмчике. Его большие тёмные, как у матери, глаза внимательно изучали Никиту. Возле губ у него тоже была родинка. Мать усадила его на скамью рядом с Никитой и тут же ушла куда-то.

– Может быть, познакомимся? – чуть слышно спросил мальчик. – Разрешите рекомендоваться: Михаил Иверзнев. Вы на подготовительный курс?

– Никита Закатов, – ответил перепуганный Никита, с которым впервые за всю его жизнь кто-то пожелал познакомиться. – И... нет, я уже на первый, я сдал экзамен.

– Значит, придёте к нам, будем учиться вместе. Откуда вы, из Москвы?

– Нет, из Смоленской губернии.

– Как далеко... – задумчиво протянул Миша. – И в Москве у вас нет родственников? А вот я московский. Мама очень хотела, чтобы я учился в гимназии, но отец настоял на корпусе. Из гимназии, по его словам, выходят одни враги отечества и якобинцы. С ним, знаете ли, сложно было спорить...

Никита постеснялся спросить, что такое «якобинцы», но решил, что это сродни «врагам отечества». Тем не менее он солидно покивал:

– Думаю, ваш отец прав. У нас в семье тоже все военные.

– Мне кажется, вы очень сильный. – задумчиво сказал Миша, разглядывая крепкую фигуру нового знакомого. – Померимся ростом?

Никита с готовностью встал и радостно убедился, что почти на голову выше своего нового знакомого. Да и другие мальчики, находящиеся в приёмной, были на вид меньше его.

– Что ж, вам тут будет легче. Думаю, не рискнут бить, – одобрительно сказал Миша и протянул Никите худую смуглую руку. – Хотите дружить навек?

– Конечно. – Никита без улыбки пожал протянутую ему ладонь. Теперь он был спокоен, поняв, что этот худенький мальчик хочет подружиться с ним из-за его силы, но при этом искренне был рад тому, что у него впервые появился друг, да ещё навек.

В приёмной появился ротный командир в окружении взволнованных матерей, и новоявленные кадеты поднялись ему навстречу.

\* \* \*

Жизнь в селе Болотееве между тем текла своим чередом. По-прежнему календарь в имении считался по полевым работам, крестьяне запахивали землю, рубили лес, убирали хлеб, мяли лён, сеяли озимые, отработывали барщину, платили оброк. «Молодые господа», ни старший, ни младший, в имении не появлялись: Никита учился в корпусе, Аркадий не приезжал даже в отпуск, прожигая почти весь доход с имения на гусарские кутежи в Петербурге. Отец препятствий ему в этом не чинил и исправно высылал деньги.

В последние годы старый барин начал хворать: годы брали своё. То и дело у полковника Закатова прихватывало сердце, всё чаще отнимались ноги, ездить по работам он уже не мог; о том, чтобы взобраться в седло или хотя бы в дрожки, не было и речи. Летом он теперь целые дни просиживал в большом кресле на рассыхающейся веранде дома, глядя слезящимися, выцветшими глазами в заросший сад и беззвучно шевеля губами. Зимой – сидел в своём жарко натопленном, душном кабинете, шелестя старыми письмами от старшего сына или страницами расходных книг. Последнее, впрочем, делалось полковником без особой нужды и лишь по привычке: имением Закатовых самодержавно управляла Амалия Веневицкая.

Теперь болотеевские крестьяне с грустью вспоминали благодатное время, «когда старый барин в здравии был», и проклинали свалившееся на них, как божья кара, царствие «проклятой Упырихи». Через год её управления помещьем Веневицкую люто возненавидели все закатовские крепостные от старосты до последнего дворового мальчишки. Дворня, которая тряслась при звуке её шагов, клялась и божилась, что эта «сова полночная» никогда не спит. Сразу после утреннего чая, устроив традиционный разнос в людской, Упыриха ехала по работам. Ей ничего не стоило несколько дней кряду простоять на пашне, внимательно наблюдая, как поднимается земля под рожь или овёс, и зорко следя за тем, чтобы пахари не прерывали работу без нужды. Во время покосов Веневицкая так же исправно стояла над душой у косарей, и все они, как огня, боялись её бесстрастного сухого голоса: «Воды пить не бегать, дома набегаетесь! Кто раз отбежит – на конюшне вдоволь напьётся!»

Но и этого было мало: через два года своей власти Веневицкая объявила крестьянам, что мужики недостаточно работают для блага барина, и назначила шесть дней барщины – вместо прежних четырёх. Произошло это в конце июня – перед самым началом жаркой уборочной страды. Крестьяне не могли знать, что накануне полковник Закатов получил от старшего сына отчаянное письмо с угрозой застрелиться: Аркадий проиграл в карты около двадцати тысяч, и долг чести требовал немедленно их заплатить. Деньги полковник с большим трудом наскрёб, перезаложив Тришкино, продав рощу и кое-как собрав остальное у соседей-помещиков, но сделанные долги нужно было отдавать.

«Амалия Казимировна, что же нам делать? – с нескрываемым ужасом спросил полковник, глядя на экономку испуганными глазами. – Ведь эдак не перезимуем, попросту пойдём по миру! А ведь Аркашеньке ещё нужно будет выслать содержание! Мальчик же не виноват, что нарвался на шулеров, он ещё молод, неопытен, а кругом столько мошенников...»

«Владимир Павлович, предоставьте это мне, – твёрдо сказала Веневицкая. – Я не осмеливалась прежде говорить вам, но вы слишком снисходительны к своим холопам. Они ленивы и распухлены, много пьют и из рук вон плохо работают. Им необходима твёрдая рука – и всё



наладится превосходно. Позвольте ли вы мне заняться вашим благополучием? Я до гроба буду помнить вашу благосклонность ко мне».

«Разумеется, Амалия Казимировна, – обречённо сказал старик. – Поступайте, как найдёте нужным».

В тот вечер Болотеево долго шумело. С полсотни мужиков набилось на широкий двор Прокопа Силина.

– К барину старому пробиваться надо, к барину! – галдели они. – Влезть на двор всем обществом и выть на коленях, покуда не выйдет! Что ж это за душегубство, изведёт ведь нас Упыриха эта чёртова, кровососица! Уж и так свету не видим, а коли шесть дён на барщине ломаться, так своя полоса и травой зарастёт! Эдак-то хороший хозяин и со скотиной не обращается, а мы хоть и подневольные, да всё ж люди! С голодухи попередохнем, так опять же прямой убыток барину будет! Прокоп Матвеич! Ну, что делать-то будем?! Что молчишь-то?!

– То и молчу, что без толку... – цедил сквозь зубы Прокоп, яростно ероша кулаком поседевшую бороду и глядя сузившимися злыми глазами в угол двора. – Что ж тут поделаешь-то... Воля барская, ведь не сама Упыриха до того додумалась, без господского дозволения не посмела б... Дурачье вы и есть. Нужны вы больно старому барину с вытьём-то вашим! И слушать не станет, ещё и перепорет, чтоб бунтовать неповадно было... Эх-х... Ладно, крещёные, расходиться время. Завтра, поди, в поле ехать надобно...

– Ему, Прокопу-то, оно, конечно, легче, вот и не полошится, – уныло рассуждали мужики, расходясь с силинского двора. – Силины богатые, их и Упыриха тронуть не захочет, на оброке оставит, без барщины... Богатому всюду хорошо, что и говорить...

Предсказания мужиков сбылись. Спустя неделю Веневицкая сама призвала в контору Прокопа Силина, проговорила с ним за запертой дверью более часа, а потом выяснилось, что семья Прокопа одна из всех болотеевских оставлена на оброке.

– Деньгу, поди, ведьме дал! – шипели завистники.

– Да она и без денег этак-то оставила б, – возражали те, кто были поумней. – Силины оброка-то больше выплатят, чем на барщине наработают. У них вон и земля хорошая старым барином дадена, и навозу конского они на неё кладут через край, и в уезде торговля хлебная у старших-то сынов... Эх, нам бы так-то!

– Ишь, куды возмечтал! Ты молись таперича, рванина, чтоб с голоду не околеть...

Прокоп Силин действительно был умным мужиком и понимал, что чрезмерно распалить зависть односельчан опасно. Пользуясь тем, что он один из всех деревенских имел на Упыриху какое-то влияние, он иногда ходил замолвить словечко за кого-то из провинившихся крестьян или выпрашивал для односельчан лишний рабочий день «на себя» во время кипучей летней страды. Веневицкая в глубине души не могла не знать, что в хозяйственных вопросах Силин умнее её, и, рано или поздно, всё же следовала его советам, всегда облечённым в форму глубочайшей почтительности. Вскоре и крестьяне уже привыкли к тому, что «наш Прокоп скажет – Упыриха пошумит, да по-евонному и сделает». Кроме того, Силин никогда не отказывался помочь самым отчаявшимся. Он давал в долг, не запоминая, и семян для посева, и молока, и муки в конце зимы, когда собственный хлеб у крестьян уже заканчивался, и не желал слушать благодарностей. Однажды он даже купил рекрутскую квитанцию на единственного сына Проньки Кривого – после чего вся Пронькина семья полдня простояла на коленях во дворе Прокопа, заунывным хором благодаря за благодеяние: Силиха тщетно пыталась выгнать благодарящих прочь. К обеду, впрочем, приехал с поля Прокоп и самолично с руганью вытолкнул их за ворота:

– Не срамились бы, бестолочи! Пронька, бога бы побоялся! Твой тятка меня крестил, а я тебе, дурню, стало быть, денег взаймы зажму?! Бога благодари, христопродавец, а не меня! И чтоб духу вашего здесь не было, не то ни четверти ржи от меня к посеву не дождётесь!

Наотрез отказывался Силин помогать только пьяницам и горестные просьбы «дать на похмелье» даже не дослушивал до конца:

– Иди-ка ты прочь, Данило, не вводи в грех, не то вон оглоблю от хлева возьму! Стыда в тебе нет! На вино деньги находишь, а дети уж с голоду прозрачные! Пошёл вон, говорят тебе, ни гроша не дам!

– Матвейч, помилосердствуй! – горестно выл Данило. – Нутро жгёт!

– Ну так и подыхай с богом, семейству на облегчение! – бессердечно объявлял Прокоп. – Агафья хоть вздохнёт спокойно, рожу твою сизую не видевши...

– Матвейч, не поскупись за ради бога, дитям в пузо всунуть нечего...

– Вот дитёв ко мне и присылай, накормлю! Они – души ангельские, невинные. А сам прочь поди, смотреть на тебя невмочь, пакость!

– Тьфу, сквалдырник... Красного петуха бы тебе под застреху... – бурчал, отходя от ворот, Данило.

– Ась?.. – приподнимался Силин, и пьяницу как ветром сдувало, а Прокоп, недобро улыбаясь в сивые усы, сидел на месте.

– Ты один, что ль, Матвейч, вздумал обчество-то прокормить? – бурчала из избы Силиха. – Так ведь и наших доходов неостанет, чужих ртов-то многонько. Нюшку-то выдавать надобно, ай нет? Акима женить собираешься? Двадцать лет парню, давно пора, а тятка всё добро со двора чужим людям раздаёт!

– Помолчала бы ты у меня, ей-богу, Матрёна Парамоновна, – сумрачно говорил Прокоп. – Не то как раз вожжи-то со стены сыму по старой памяти... Не видишь, что времена вовсе гиблые настали? Нам с тобой нужно кажин день Бога благодарить, что у нас покуда не совсем худо! У других-то погляди, что деется! В каждой избе хлеб из травы с мякиной пополам! На детей посмотри, ведь в коросте все, от ветру шатаются! Пойми ты, дурища, что ежели мы давать не станем, люди-то озвереют и сами всё возьмут! Хотя и грех, а что угодно сделаешь, коли дети с голоду мрут! Так что хватай вон толокно да муку и к Агафье дуй, у ней четвёртый день печь не топлена и не варено ни мыши!.. Тьфу, и за что напасть на нас такая? Давеча я у отца Никодима спрашивал, отчего так: хорошие люди с голоду мрут, а всяка сволочь живёт себе да жиреет, как хряк в закутке, и ничего ей не деется...

– Грех это, Матвейч, – погубили для божьей твари желать, – вздыхала Матрёна и тут же интересовалась: – А что те отец Никодим ответил?

– А что он ответит... – с сердцем отмахивался муж. – У него на всё один ответ: неисповедимы пути господа... Будто я без него не знаю. А ещё сказал, что господь добрых людей к себе рано берёт, чтоб они поменьше здесь-то маялись.

– Оно и правда, верно... Что значит – человек учёный! – Матрёна тяжело вздыхала, брала горшок с толокном, отсыпала в торбу муки и шла к соседям.

– Васёнке с Нюшкой вели, чтоб не смели на посиделки китайчатые сарафаны вздевать! – летело ей вслед. – А ежели хоть одну ленту на них увижу – самую длинную крапивину выдерну да подолы позадираю, так и скажи!

– Совсем девок-то замучил! – лопалось терпение у Матрёны. – Когда ж им и порядиться-то, коли не в девичестве?! Ты ещё их в рогожку заверни и пенькой подпояшь! Дождёшься, что смеяться над ними станут, – мол, батька богатеи, а дочери одну рубашку на двоих носят!

– Пусть смеются лучше, чем завидятся! – отрезал Прокоп. – Ты не слышала ль, что вон Данилка шипел? «Петуха б тебе красного», вот что! Чуть не в лицо мне! А ведь коли б не мы с тобой, они этой зимой околели б всем семейством, свой-то хлеб ещё до Святков вышел! И что ж, думаешь, один Данило этак мыслит? Коли ещё девки наши нарядами вертеть начнут – сгорят эти ихние наряды вместе с сундуками да с домом всем! Авось Данилка-то голодранец утешится тады!

Спорить Матрёна не решалась. Как ни рыдали взрослые дочери, отец так и не разрешил им шить себе сарафаны из камчи и дорогой китайки и покупать у прохожих офеней яркие ленты и перстни. Обе девушки на выданье ходили в простых рубахах, украшенных лишь вышивкой, и домотканых, крашенных луковой шелухой юбках. Женатые сыновья, жившие с отцом, не смели покупать жёнам дорогие подарки, и единственной роскошью, которую Прокоп позволял себе и им, были хорошие смазные сапоги.

В деревне к Силиным относились по-разному: кто искренне считал их своими благодетелями, кто ворчал, что Прокоп в сговоре с Упырихой.

«Сговорились с Амалькой проклятой, вот и кабанеют у мира на глазах, ни стыда ни совести! – бурчал на сходках Данило Шадрин. – Людям православным в брюхо впихнуть по неделям нечего – а они вона – свадьбу затевают, сына женить вздумали! Тьфу, грех один, срамота...»

Семья Шадрина считалась самой бедной даже в обнищавшем Болотееве. Серая, со дня постройки не подновлявшаяся избёнка их стояла на конце села, глядя подслеповатыми оконцами прямо в лес: зимой прямо под забор приходили отошальные волки и тоскливо выли. Крыша избы вечно была подпёрта жердями и брёвнами, но всё равно неумолимо съезжала набок – с каждым годом всё сильнее. Щелястый забор каждую весну падал в палисадник, теряя жерди. Хозяин дома в молодости был лучшим плотником на всю округу, хотя и любил выпить. Однажды, находясь в небольшом подпитии, он устанавливал стропила в новом доме и упал с крыши. На беду, следом свалился и его топор, упавший прямо на хозяина и разрубивший ему правое плечо до кости. Сухожилия были перерезаны, Данило долго хворал, и рука его после этого повисла безжизненной плетью. Работать он уже не мог, без любимого дела скучал, злился и выпивал всё больше и больше. Через два года сутулая и худая фигура Данилы сделалась неотъемлемой принадлежностью деревенского кабака, куда им был стащен и не нужный больше плотницкий инструмент, и нарядная одежда, прежде водившаяся в доме, и даже понёвы и сарафаны из приданого жены.

Супруги своей Агафьи, суровой, сильной, молчаливой бабы, Данило, впрочем, побаивался и вещи из её сундука таскал украдкой, опасаясь закономерной трёпки. Но сколько ни была Агафья мужа кочергой, сколько ни осыпала его бранью, сколько ни призывала на его голову всю преисподнюю, – с каждым годом Шадрины жили всё хуже. За пятнадцать лет жизни с мужем Агафья родила двенадцать детей; выжило из них трое, и все были девочками.

«Лучше б я вас, девки, ещё в зыбке передушила... – без сердца, устало говорила по временам Агафья. – На какую вы жисть выжили у меня, что мне с вами делать-то?.. Кто вас, голозадых, замуж возьмёт? Народились вы на мою душу, выводок мышинный... хоть бы господь смилостивился да я б вперёд подохла, чтоб ваших мучений не видать... оглодки».

«Оглодки» помалкивали, покорно донашивая друг за дружкой истлевающие рубахи и юбки. Ленивицами шадринские девки не были: с малых лет они сновали по разваливающейся избе, скребя, готовя, моя, нянча друг дружку, пропадали в нехитром огороде, пока мать работала на барщине или сама, на одолженной у соседей кобыле, надрываясь над плугом, поднимала узенькую полосу каменистой земли. От пропадающего в кабаке главы семейства проку давно никто не ждал, но значительным подспорьем была Агафьиная свекровь, Шадриха: известная на всю округу травница и знахарка.

Эта маленькая, сухонькая старушонка была, казалось, совершенно неутомимой. С поздней весны и до осени её невозможно было застать дома: она уходила глубоко в лес и иногда по неделям не возвращалась в избу. Бабы божились, что Шадриха и ночует там же, в лесу, под корнями вывороченного грозой дерева. Когда бабушку спрашивали об этом, она только хихикала:

«Это вам, лодырницам, печку да подстилку подавай, без этого и сон нейдёт, а моим костям старым где угодно скрипеть вольготно... Вот ещё, пойду я до дому, когда медвежья трава одни сутки в году цветёт, да на весь наш лес всего три поляны с ней, и каждая от другой на семь вёрст...»

«Бабушка, а на что тебе та трава-то?» – отваживалась спросить какая-нибудь из баб.

«А вот как тебя, голубушка, животом схватит да ты своего Ванятку за бабкой Шадрихой спошлешь, – тогда уж приду да скажу», – усмехалась Шадриха, и баба, испуганно перекрестившись, замолкала.

Невероятная чистота в заваливающейся набекрень избе Шадриных была заслугой именно бабки: та не уставала понукать маленьких внучек, гоняя их то за веником, то за водой, то за тряпками и щёлоком:

«Шевелись, девки, шевелись, скоблите, трава да коренья мокроты и грязи не любят – враз перегниют, негодны станут, чем вас на ноги подымать стану? А болести разные грязь сильно почитают, её из избы в три шеи гнать надо!»

Внучки слушались, и в избе у Шадриных всегда было чисто: белели выскобленные полы, по стенам были истреблены клопы, бабка не терпела даже чёрных тараканов, которые, по твёрдому убеждению крестьян, притягивали в дом достаток. По стенам и под потолочными балками висели связки корешков, пучки трав и сухих цветов, пахнувших всю долгую зиму так, будто в избе не проходило лето. Внучек своему умению бабка не учила, но старшая, Устя, то и дело выполняла её мелкие поручения: растолочь в ступке корешок, проследить за кипящим в котелке отваром трав, мелко нарезать какой-нибудь стебелёк или слетать на опушку леса и надёргать там «травки золотенькой, головка синенькая, колючками». Плату за свои услуги, несмотря на яростное негодование невестки, Шадриха не брала: «Дело божеское, за что тут брать?» Крестьяне, впрочем, исправно оставляли бабке за её старания молоко, муку, яйца, и от этого уже она не отказывалась: «Коли человек сам вздумал – приму, а просить не могу».

В деревне Шадрихи побаивались, – несмотря на то, что вреда от неё отродясь никому не было, а лечила она всегда без отказа. Характер у бабки был суровый, за ней часто посылали, если нужно было уговорить расхोлившегося пьяницу или отнять бабу у колотящего её поленом мужика. Долгих разговоров с провинившимися Шадриха не вела и, лишь мрачно взглянув из-под платка зелёными, по-молодому ясными глазами, сквозь зубы обещала: «Не доводи, Фёдор, до греха...» Обычно этого было достаточно, чтобы Фёдор моментально трезвел и потихоньку убирался прочь из избы – отсыпаться в хлеву. Кланялись Шадрихе и при тяжких бабьих родах, и при лихоманках, она могла отчитывать кликуш, заговаривать животы у детей, лечить зубную боль и прострелы в спине, выводить чирьи, золотуху и прочие болезни. Её же звали, когда нужно было выйти на рассвете в поле и, помолившись на четыре стороны, плеснуть на гряды конопляным маслом, шепча заговор для урожая. Шадриха сбрызгивала с уголька испуганных детей, успокаивала заполошных баб, более-менее успешно изгоняла озорничавших домовых или хотя бы могла приструнить их. Единственное, на что бабка никогда не соглашалась, – творить заговоры на присуху или на остуду, как ни упрашивали бабы вернуть домой гулёну мужика или девки – приворожить пригожего парня. «Не умею! – был суровый ответ. – К Савке проклятому идите, коли душу загубить охота, а я вам не потатчица! Вот уж отцу Никодиму пожалуюсь!»

Единственным Шадрихиным врагом во всей округе был колдун Савка, проживающий на задворках деревни Тришкино в заросшей мохом и дикой травой избе. Это был отставной солдат, вернувшийся в родную деревню после двадцати пяти лет царской службы с высохшей, не способной к работе правой рукой и без правого же глаза. Маленький, юркий, чёрный и вредный мужичонка был, по мнению деревенских, одним из самых сильных колдунов на свете, и его всячески старались умасливать всем миром: «Чтобы только, ирод, не вредил». Бабы клялись, что душу нечистому Савка продал во время войны «с хранцузом» и что сам французский сатана учил его пакостить крещёным людям так, что русский чёрт только мог икать от зависти в своём болоте. Чуть свадьба в селе – и Савка уже первый гость, сидит в чистой, подаренной родителями жениха рубахе на почётном месте, пьёт водку, важно поглядывает по сторонам, а все опасливо кланяются ему и величают «Савелием Трифоновичем». Деревенские знали:

стоит не позвать Савку на праздник – и свадебный поезд остановится на перекрёстке, как вкопанный, лошади будут храпеть, дико коситься по сторонам и, сколько ни хлещи их, – не тронутся с места. Не пригласи проклятого колдуна на крестины – и не дойдёшь с младенцем до церкви, потому что через дорогу опрометью бросится мохнатый, трёхцветный Савкин кобель или, ещё хуже, подкатится крёстным родителям под ноги. И каждому понятно, что после такого всё пойдёт прахом. Кобеля этого неоднократно пытались отравить, но тот был научен хозяином не брать пищу из чужих рук и только рычал и огрызался, морща уродливую морду. «Тьфу, два сапога пара – собака с хозяином!» – плевались деревенские, стараясь исподтишка запустить в проклятую псину хоть поленом, – но тот ловко увёртывался, бешено гавкал и уносился на кривых ногах прочь.

Савка, чувствуя подобное отношение деревенских, ходил гоголем, победоносно сверкая единственным чёрным глазом. Шадриха Савку терпеть не могла, в глаза и за глаза называла его «анчихристом поганым», но до поры до времени старалась не связываться. Терпение её, впрочем, лопнуло после Покрова, на свадьбе Трофима Силина.

Свадьба ожидалась большая и шумная: Силины всегда закатывали пир на всё село, выставляя столы прямо на своём широком дворе. Колдуна Савку за несколько дней до свадьбы пригласила, принеся богатые дары, сама силинская большуха Матрёна. Савка подарки, хоть и ломаясь, принял и пообещал не допустить «свадебной порухи».

На другой день колдун явился к Силиным в вывернутом наизнанку овчинном кожухе, выгнал всех, кроме Матрёны, из дому и начал внимательно осматривать углы и притолоки, гнусаво бормоча при этом себе под нос. Матрёна, обмирая от страха и не смея перекреститься, тревожно следила за хлопотами колдуна. Облазив весь дом, повертев стол, посчитав кирпичи в нижнем печном ряду и неодобрительно покачав косматой головой, Савка полез на полати. Вернулся торжествующий, со спутанным комком не то шерсти, не то волос в руках. Им Савка угрожающе помахал перед носом хозяйки.

– Видала? Кабы не я – плакала б свадьба ваша горячими слезами! Вот он – ведьмин колтун-то! Так я и знал, – тьфу, поганый! Печь с утра топлена? Уголья остались?

– Остались, родимый, остались, кормилец... – пролепетала Матрёна. – Снять заслонь-то?..

– Куды, дура?! Сгоришь, угольками рассыплешься! Сам я, так и быть... – с важностью сказал Савка и, деловито пошептав около печи, схватил заслонку и с грохотом швырнул её в угол, успев при этом трижды крутануться на месте и послать длинный плевок точнёхонько вслед заслонке. Затем Савка с истошным воплем «Сгинь, пропади, рассыпсья, ведьмина волосня, от моего слова-а-а!» швырнул в печь ком волос, следом бросил пригоршню какой-то зеленоватой пыли – и из пода печи с треском полыхнуло огнём, повалил чёрный дым, а Силиха мешком повалилась на пол, лишившись чувств.

Конечно, на Савкины вопли сбежалось всё село. Конечно, большуху быстро привели в себя. Конечно, хлопотал вокруг Матрёны всё тот же Савка, бегая с наговорной водой и деловито брызгая на охающую тётку «с руки да с уголька». Прибежавший из конюшни Прокоп, хмурясь, согласился «добавить» Савке к уже подаренному накануне курочку да петушка, да сверх того – полмешка муки и жита. Наконец, Савка торжественно убрался, пообещав явиться перед самым отъездом свадебного поезда.

– Вот ей-богу, чуть весь дух напрочь из меня не выпер! – в тот же вечер жаловалась Матрёна бабам у колодца. – Натерпелась страху так, что посеючас все жилочки трясутся! И пусть только Прокоп теперя скажет, что, мол, пустые траты были на Савку-то! Сразу видно человека знающего! С минуту по избе покрутился, носом повёл, пошептал – и на полати! И клок-то этот поганый выволлок! Оно понятно, завидующий человек подсунул... У нас, конечно, достатки, завсегда недобрый глаз на чужое-то богатство сыщется, как есть бы всю свадьбу Трофимке расстроили! А Савелий-то Трифоныч и пресёк!

Испуганные бабы крестились и с сочувствием смотрели на Матрёну.

– Тьфу, пропади он пропадом, шаромыжник турецкой... – бурчал тем же временем на конюшне Прокоп, яростно вычищая скребницей гнедого коня. – Вот ты мне, Фролыч, скажи, отчего я нутром чую, что жулик он?!

Притулившись у двери кум многозначительно воздымал плечи. Осторожно говорил:

– Так, Матвейч, может, он и не вовсе жулик... Бабы-то, знаешь, они в таких-то вещах понимающие. Они ж и сами каждая малость того... Не в обиду будь сказано, ведьмы все до единой! Вот хоть мою Фёклу взять...

– Понимающие они... – цедил сквозь зубы Прокоп. – Дура на дуре и дурой подбита, вот и всё ихнее понимание! А Савка – он, змей, как раз умный будет! Недаром меня-то из избы выставил, а Матрёшку оставил! Я, глядишь, ещё бы и не побоялся этот ведьмин скрутыш в руки взять и со всех сторон осмотреть: не Савелий ли Трифоновч его свертел?

– Ну уж ты, Матвейч, тоже... того...

– Чего – того?! Тож небось не первый день на свете живём, кой-чего понимаем! И на порошок, кой он в печь кинул, тоже хорошо глянуть бы! Всяки чудеса на свете бывают, только все они людскими руками творятся! А этот... Тьфу, поганец, выкинул бы я его со двора прочь, да бабьего визгу слушать неохота... Ляд уж с ним.

– И верно, Матвейч, не связывайся! – с облегчением соглашался кум. – Кто его знает, Савку, колдун он аль жулик – всё едино человечешко поганый. Хуже баб. А бабы, доподлинно тебе говорю, – ведьмы все до единой!

На том и сошлись.

Наутро колдун явился, как и обещал, раньше всех, в красной рубаше и с веткой бузины. «Девятизерновой стручок», завёрнутый в тряпицу, – верное средство от свадебного сглаза, – он передал свату и, когда все отправились в церковь, полез прямо за стол. Когда весёлый свадебный поезд вернулся из церкви и на двор Силиных повалили гости, славя «князя с княгиней», Савка-колдун был уже изрядно нарезавшись.

За стол Савка уселся рядом с молодыми. Прокопа Силина передёрнуло, но он смолчал, поймав умоляющий взгляд жены. Бабка Шадриха, которая вместе с другими женщинами и старшей внучкой Устькой суетилась около печи, взглянула на него неодобрительно, поджала губы.

– Выкинул бы ты его, ей-богу, Прокоп... – негромко проворчала она Силину. – Погляди, расселся за столом-то, как жених, морду сапогом задрал, холера... Так ведь и на шею скоро усядется и копыта свои по бокам свесит!

Силин нахмурился ещё больше, потемнел, но ответить не успел: вмешалась Матрёна.

– Что ты, Митродора Лукинишна, что ты, господь с тобой... – испуганно забормотала она, на всякий случай заискивающе улыбаясь колдуну. – Нешто сама не знаешь, что этот проклятик сотворить может? Ведь всю судьбу Трофимке спортит, не дай бог... Аль жену сглазит... Бог с им, пуцай сидит, лишь бы не пакостил... Да и накануне помог он нам, уж как помог...

Шадриха с сердцем сплюнула и отвернулась. Савка из-за стола ехидно подмигнул ей, отвернулся и затянул непристойную песню. К счастью, подружки невесты догадались грянуть в ответ величальную в двенадцать голосов и успешно заглушили Савкину похабщину.

– Окоротила бы ты его, Лукинишна, – зло процедил Прокоп. – Могёшь ведь, знаю...

– И не проси, не возьму греха на душу! – таким же яростным шёпотом ответила бабка. И замолчала надолго, остервенело гремя посудой у печи и о чём-то сквозь зубы переговариваясь с десятилетней внучкой. За свадебный стол она, как ни уговаривали, так и не села.

Праздник шёл своим чередом, пили пиво, водку, вино, и к темноте колдун Савка был вдребезги пьян. Когда по обычаю вышла плясать молодая в красном камчатном сарафане, расшитой душегрее и шёлковом платке, Савка, ко всеобщему испугу, вылез из-за стола и, ломаясь, встал прямо перед ней.

– Ну, что ли, пройдемся, Глаша-радость? – пьяно и радостно спросил он. В мокрой бороде его запуталось пёрышко лука, грязные волосы были всклокочены, рубаха заляпана маслом. Силинские парни все разом поднялись из-за стола, но отец остановил их движением руки.

– Сядь, Савелий Трифоныч, сделай милость, – негромко попросил он. – Сядь, не гневи бога и праздника людям не порть. Мы к тебе со всей душой, но и ты совесть имей. Нехорошо делаешь, не по-божьи.

Чёрный Савкин глаз сощурился. Он сделал шаг к огромному Силину, задрал голову и с чувством рыгнул прямо в лицо отцу жениха.

– А ты меня, Прокоп, не учи! – растягивая слова, заявил он. – И богом меня не страдай – забыл, что ль, с кем говоришь?!

– Помню, – сдержанно ответил Прокоп. Брови его сошлась на переносице в сплошную грозную линию.

– А коль помнишь, так и помалкивай за печью! И не серди меня, не серди, не то сам знаешь!.. А ну-ка там, бабьё, песню нам с Глафирой Терентьевной, плясать будем, гулять будем, целоваться будем!

– Да что ж это, люди добрые!.. – вырвалось у матери невесты. – Савелий Трифоныч, да что ж за нелепие ты творишь! Глашка, а ну отойди от него!

– Шагу не сделает, покуда не поцалует! – щерясь беззубым ртом, пообещал Савка. Единственный глаз его горел диким огнём. – Ну-ка, Глашенька, свет мой, – могёшь без моего дозволения с места сойти?!. Будешь Савелья Трифоныча целовать?!

Наступила мёртвая тишина: примолкли даже пьяные. Вся изба с ужасом смотрела на Глашку, которая, побелев, как извёстка, испуганными, широко открытыми глазами смотрела на колдуна. Молодой муж ожесточённо дёрнул её за руку, но толку от этого не было никакого: Глашка действительно не могла двинуться с места. Мать невесты отчаянно завизжала. Тут же зашумели и другие бабы, кое-кто уже кинулся прочь из избы, Матрёна Силина с воем повалилась на колени перед колдуном, Прокоп яростно выругался, обвёл избу бешеным взглядом в поисках чего-нибудь потяжелее... И в это время, растолкав людей, на середину горницы быстро вышла Шадриха. В руках у неё был глиняный горшок. Увидев тёмное, перекошенное яростью лицо старухи, от неё шарахнулись прочь. Заметно побледнел даже Савка, хотя кривая ухмылка не пропала с его нечистой рожи.

Шадриха с размаху швырнула горшок об пол, глиняные осколки брызнули в сторону.

– Вон, нечисть! С нами Богородица! Сойди прочь, Глашка! – вскричала Шадриха хриплым чужим голосом... И молодая жена без чувств повалилась на руки матери. Её тут же подхватили и понесли прочь из избы.

– В баню её волоките, я сама следом буду! – велела вслед Шадриха. И повернулась к колдуну. Не сводя с него взгляда, отчётливо выговорила всё тем же чужим, странным голосом:

– Ну, Савка, сукин ты сын, довёл-таки до греха. Прости ты меня, господи, оскоромилась...

На миг в избе снова стало тихо. Перепуганные гости таращились на колдуна, ожидая, что тот упадёт, сражённый на месте молнией, или рассыплется мелкой пылью. Но прошла минута, другая, а с Савкой ничего не делалось. Шадриха опустила взгляд, несколько раз истово перекрестилась и быстрым шагом вышла из избы вслед за толпой баб. Следом побежала внучка. Савка криво, недоверчиво усмехнулся. Кто-то из крестьян разочарованно вздохнул.

– Тьфу на тебя, ведьма старая! – победоносно крикнул колдун вслед Шадрихе. – Ничего ты с Савелием Трифонычем сделать не могёшь, нет на то твоей во... – и вдруг молча, скривившись, начал заваливаться набок.

Домой, в его косую избёнку, Савку отнесли на руках. Он сдавленно стонал, корчился, умолял не мучить его и оставить в покое: «Ой, нутро жгёт, ой, смерть пришла, спасу нет, не трогайте... Шадриха, ведьмища проклятушая, испортила, ой, помираю, уже помру чичас...»

Шадриха тем временем хлопотала в полутёмной бане Силиных вокруг молодой жены. Заботы её помогли: через час Глашка вернулась в избу, бледная, заплаканная, но на своих ногах. Шадриха пришла следом и во всеуслышанье объявила:

– Глашка – непорчена, в том слово своё даю, и никакого беса Савка в неё не пристроил! А ежели не хотите нечистую силу тешить, то пойте-гуляйте, будто не было ничего! Поймёт нечисть, что её не боятся, да к своим хозяевам на болото утащится!

Взволнованные гости с готовностью грянули плясовую, и свадьба понемногу покатила своим чередом. Силин с женой, торопясь развеселить гостей, не заметили, как бабка Шадриха тихо вывернулась из избы и «загородошной» тропкой быстро пошла к сельской церкви.

В маленькой, старой, тяжело осевшей набок, как хмельная баба, церкви Болотеева было пусто: только пономарь, ворча, выметал из углов сор, оставшийся после утреннего венчания. Отец Никодим, маленький седой попик с растрёпанной бородой, мёл в палисаднике сухие листья, освобождая от них ещё цветущие, поздние «золотые шары». Ему помогала внучка Шадрихи, молчанося в подоле охапки листьев и сваливая их к обшарпанной церковной стене.

– Бог в помощь, батюшка, – хрипло сказала Шадриха, входя в церковные ворота. Священник выпрямился, сощурился против садящегося солнца старыми слезящимися глазами. Над его головой шелестели последними листьями рябины.

– Лукинишна, да что там у вас стряслось-то? Устька твоя примчалась, кричит – Савка невесту на свадьбе испортил...

– Ох, истинно... Да идём в храм-то, помолиться мне надо! Савка, ирод, снова во грех вогнал... – сокрушённо бормотала бабка. – Ведь и зареклась – а соблазнил, поганец, прости меня, господи... Отец Никодим, ты б меня исповедовал, а?

– Ну так пошли, Христос с тобой, – растерянно сказал поп. – Обожди, епитрахиль воздену... Отец Варсонофий, поди с богом к матушке, она тебя чаем напоит... Да что делалось-то, Лукинишна?

– Нет уж, давай по череду, сперва грех струси. – Шадриха опустила на колени перед алтарём и, вздыхая и крестясь, начала излагать подробности.

Выслушав знахарку, отец Никодим только покачал головой. Не выходя из глубокой задумчивости, накинул на голову Шадрихи епитрахиль, отпустил грех, перекрестился, вздохнул и вместе с бабкой вышел из церкви на ясный и холодный осенний воздух.

– Грехи наши, грехи тяжкие... Беда с этим Савкой!

– Видит бог, я его не трогала допрежь, – удручённо сказала Шадриха. – Но тут уж мочи не стало: ведь до чего обнаглел, басурман! Чужу жену на глазах у мужа и людей целовать вздумал! Усовестил бы хоть ты его, батюшка!..

– Что ему я, когда он и в церковь не ходит, и божьего слова не признаёт? Пропадающая душа... – Отец Никодим умолк, задрал голову и глядя в серое небо. – Уж к нему и исправник ездил, грозил, усовещал... Всё без толку. А ты бы его, Лукинишна, всё ж не трогала лучше. Твоя-то сила тоже не от Господа.

– А от кого ж?! – вскипела неожиданно Шадриха. – Я-то без святой молитвы ни одной травки не сорву! Аль я твою матушку от почечуя не лечила? Аль не сидела над ней ночью напролёт? Аль у дьяконицы младенца ногами вперёд из чрева не примала?! А прострел твой в спине чья забота была, когда тебя на Николу зимнего впополам скрючило?! Ишь что вздумал – меня с Савкой проклятым равнять!

– Спаси Христос, Лукинишна, что говоришь-то?.. – растерянно отмахнулся отец Никодим. – Я ведь не в обиду тебе, ты людям помогаешь...

– Я ведь и Савку-то проклятого сегодня Богородицы именем гнала! – ещё обиженно сказала Шадриха. – Вся изба слышала!

– Я тебе верю, – священник вздохнул. – Ты уж не обижайся, только... мне вот думается, что ты его, и Богородицы не помянувши, ринула бы.



– Твоя правда, – помолчав, грустно покаялась Шадриха. – В том и исповедалась. Я Богородицу-то матушку для того помянула, чтоб наши дурни не испугались. Что вот, мол, ведьма колдуна гоняет...

– Ну вот. И я про то ж...

– Да ну тебя вовсе, батюшка! – снова рассердилась старуха. – Я уж и сама не знаю – права ль, виновата ль... Уж сколько я разов тебе говорила – во всём роду нашем такая сила есть! И у матери моей была, и у бабки! В Устьке вот покуда не вижу... может, и слава богу.

– Она у вас отроковица хорошая, славная. В церкви часто бывает.

– Вот и дай господь... А я уж постараюсь, чтоб боле – ни в коем разе!.. Пусть Савка хоть всех баб в деревне перепортит – и глазом в его сторону не кину!

– Да нашим теперь на десять лет разговору-то хватит, – снова вздохнул отец Никодим. – Слушай, а мне верно рассказали, что Савку, всего скрюченного, на руках домой отнесли? И что животом он страшно страдает?

– Уже и доложили! – с усмешкой всплеснула руками Шадриха. – Да когда ж успели-то? Я навроде Устьку-то сразу к тебе послала, а она, хоть малая, лишнего не сболтнёт...

– Отец Варсонофий весь в мыле прибёг допрежь Устьки твоей! – усмехнулся и отец Никодим. – Я ему сначала-то и не поверил, потому знаю, что ты зарок дала...

– Будешь теперь мне до второго пришествия поминать?!

– Сохрани господь... Но ты Савку-то всё равно ослобони! Грех-то за мученье души христианской на тебе будет.

– У кого это душа-то христианская – у Савки?! – вскипела было Шадриха, но, подумав, кивнула и встала. – Ладно... зайду. Откачаю поганца. Хотя, по-моему, хорошо б ему, похабнику, хоть недельку помаяться.

– Да смотри, с молитвой, с молитвой святой! – встревоженно закричал ей вслед священник. – Да чтоб люди это видели! Не то, спаси господь...

Шадриха исполнила своё обещание всё-таки не сразу и пришла в избёнку Савки только через день. Отцу Никодиму она объяснила это тем, что раньше нигде было не найти трезвых свидетелей. А теперь целая толпа баб у колодца клялась и божилась, что на рассвете Шадриха вошла к Савке, распахнув настежь дверь, подошла к скорчившемуся на лавке под старой собачьей дохой колдуну, который уже не кричал, а только сдавленно, сквозь зубы стонал от боли, несколько раз перекрестилась и громко провозгласила:

– Именем Христовым и Богородицы Пречистой снимаю болезнь твою! Встань, бессовестный, и впредь людям не вреди! – повернулась и вышла вон. Следом выкатился и Савка, который, охая и что-то шепча, приник к кадке с дождевой водой у порога и выпил её мало не всю. Затем, выпрямившись и недоверчиво огладив живот, он покосился на застывших с вытаращенными глазами у забора баб и быстро убежал обратно в избу. На другой день, в воскресенье, отец Никодим прочёл приходу слегка сумбурную, но горячую проповедь о том, что любая сила, что идёт на добро людям, – от Бога, и авторитет Шадрихи взлетел в глазах всего окрестного крестьянства до небес.

\* \* \*

В кадетском корпусе Никита Закатов провёл шесть лет своей жизни. Под высокими, унылыми сводами казённого заведения было собрано около трёхсот мальчиков от восьми до восемнадцати лет, и первое время Никита ходил с гудящей головой и шумом в ушах, оглушённый этим обилием детей, криками, гамом и плачем. Мальчики младшей ротной группы тяжело переживали отрыв от семьи и родителей и принимались реветь при первой возможности. Никита смотрел на них с искренним изумлением. Сам он не тосковал ни о чём. О родительском доме, где его никто не любил, скучать не было смысла, отсутствие отца Никита пере-

живал скорее с облегчением, казённую нехитрую пищу в столовой он в отличие от прочих кадетов находил весьма недурной и, по крайней мере, свежей, а узкая койка с серым одеялом, в котором, к крайнему изумлению Никиты, не обнаружилось ни одного клопа, и вовсе казалась верхом совершенства. «Какие нытики, почему они так заливаются?..» – думал он, наблюдая за заплаканными однокурсниками, и удивление его понемногу переходило в презрение.

Гораздо более Никиту пугали начавшиеся занятия. С первых же дней обнаружилось, что наспех полученные им от брата и мадемуазель Веневицкой знания, эпизодические и беспорядочные, хоть и помогли Закатову поступить в корпус, но были совсем недостаточными для отличного учения. А учиться следовало блестяще, поскольку Никита с ранних лет усвоил, что пробиваться в жизни придётся самому. Некоторые лекции повергали его попросту в отчаяние: слушая преподавателя, он не понимал ни слова из сказанного и в воображении уже представлял картину своего позорного исключения из корпуса и возвращения в Болотеево. По спине бежали мурашки, и Никита принимался с удвоенным вниманием вслушиваться в непонятные слова, а некоторые из них – даже записывать, чтобы после добиться разъяснения у Миши Иверзнева.

Этот худенький темноглазый умный мальчик неотлучно был с ним рядом с самого поступления в корпус. Никиту это не раздражало, хотя и слегка удивляло. По его мнению, Миша, сразу показавший блестящие способности в иностранных языках, много и с удовольствием читавший, прекрасно ладивший со сверстниками, мог выбрать себе более подходящее знакомство, чем дикарь из смоленской глуши. Кроме того, Никита быстро понял, что и физической силой своего нового друга Мише пользоваться не нужно: здесь же, в корпусе, но тремя курсами старше учился ещё один Иверзнев – Пётр, Мишин брат, по прозвищу Геркулесыч, снискавший себе славу первого корпусного силача. Тронуть хотя бы пальцем Геркулесычева младшего брата не рискнул бы никто. В конце концов Никита вынужден был поверить, что Миша Иверзнев дружит с ним «просто так».

В первую же неделю пребывания Никиты в корпусе его попытались «осадить». Третьекурсник Свиридов, большелобый рыжий парень с тусклым взглядом голубоватых глаз, покосившись в столовой на широкоплечего новичка, командным голосом приказал:

– Ну-ка, воробей, назовись!

– Кадет Закатов, – спокойно и слегка удивлённо отозвался Никита. Вызывающий тон рыжего третьекурсника его не задел: он подумал, что, возможно, в корпусе принято такое обращение старших к младшим.

– Поди сюда, сопля! Да живо, на всех четырёх!

Никита послушался, хотя по нарастающему шёпоту и полетевшим из конца в конец столовой настороженным взглядам понял, что происходит нечто не совсем привычное. Подойдя к столу третьего курса, он убедился, что рыжий ниже его ростом и значительно уже в плечах, и вовсе перестал что-либо понимать. Он ещё не знал, что Свиридову уже пятнадцать, что он дважды оставался на второй год, что полное отсутствие мозгов и совести в нём компенсируется наглостью и замечательной безжалостностью: малышкой он мучил так же изощрённо и с увлечением, как пойманных кошек или воронят. Выкинуть его из корпуса не могли, поскольку его отец был героем последней кампании и принадлежал к кругам высшего офицерства.

– Принеси мне кашу, – развалясь на скамье, потребовал Свиридов. – Да живо, тупилка, рассержусь!

Никита посмотрел на жестяную миску с кашей, стоящую на столе. Спокойно заметил:

– Но она же стоит перед вами.

– Смотрите, глазастый! – заржал Свиридов. Рядом подобострастно захихикали. Никита окончательно убедился в том, что над ним издеваются, и, пожав плечами, повернулся, чтобы уйти.

– Стоять, штафирка, тебя никто не отпускал! – заорал Свиридов.

– Я не нуждаюсь в вашем позволении, – сквозь зубы процедил Никита любимую фразу своего отца. В столовой наступила тишина. Свиридов не спеша встал, подошёл вплотную и ударил новичка по лицу.

Ротный воспитатель, капитан Селезнёв, примчался к столу третьего курса через мгновение, услышав такой крик и шум, словно рушилась крыша корпуса. Разметав сгрудившихся в плотное кольцо мальчишек, он узрел в середине круга, на полу, бледного, но спокойного новичка Закатова, сидящего верхом на Свиридове. У последнего было разбито в кровь лицо, и он яростно рычал сквозь зубы, но при этом не шевелился: рука его была немилосердно заломлена за спину Закатовым.

– Закатов, Свиридов, встать! – приказал ротный, отметив про себя ту быстроту, с которой новичок управился с главным корпусным лихом. – Что произошло?

Никита молчал. Свиридов поднялся, охая и стеная, и, вытирая пальцами кровь, обильно бегущую из носа, принялся живописать разбойное нападение на него «бешеного новенького». Ротный посмотрел на Свиридова, которого знал как облупленного, с крайним недоверием и перевёл глаза на Закатова.

– Кадет Закатов, это вы напали на товарища?

Никита молчал. Его уже успели предупредить, что нет большего греха, чем ябедничество.

– Что же вы молчите, отвечайте! – повысил голос воспитатель.

– Простите меня, господин штабс-капитан, – тихо, но твёрдо сказал Никита, глядя поверх голов взволнованных кадетов. – Отвечать не могу.

– Но отчего же? Вот наказание! Это вы устроили драку? Господа, кто всё видел? – обратился он к кадетам. И, к своему крайнему изумлению, Никита услышал сразу нескольких мальчишек, которые с жаром начали утверждать, что новичок первым привязался к Свиридову и первым же ударил. Свиридов перестал хныкать и начал важно кивать. Окончательно растерянный Никита мог предположить лишь одно: он нарушил какое-то неписаное, но страшно важное правило корпусного этикета, и эти мальчики своим поведением показывают ему всю низость совершённого поступка. Но в чём состоит эта низость, Никита, как ни силился, не мог понять. Весь охваченный тревожными мыслями, он едва сумел услышать распоряжение ротного:

– Закатов – в карцер! Свиридов – в лазарет и тоже в карцер! А...

– Позвольте, господин штабс-капитан! – послышался вдруг тихий, но негодующий голос, и из-за спин товарищей торопливо выбрался бледный Миша Иверзнев. – Позвольте мне сказать... Это неправда, кадет Закатов не виноват, он лишь защищался... Свиридов ударил первый, я готов присягнуть!

Ротный капитан с интересом и лёгкой насмешкой посмотрел на взъерошенного худенького Мишу. Затем перевёл глаза на Никиту.

– Однако, Закатов, защищались вы весьма... ошутимо. Свиридов, хватит завывать, не ведите себя, как баба на сносях! Отправляйтесь в лазарет! А вам, Закатов, следует усвоить, что вы находитесь в стенах кадетского корпуса, а не на деревенском кулачном бою. Если ваш товарищ оскорбил вас, вы обязаны поставить в известность ваше непосредственное начальство, то есть меня. И определить степень его наказания входит в мои обязанности. Вам ясно?

– Так точно, господин штабс-капитан.

– В таком случае марш в карцер до вечера, – распорядился Селезнёв. Никита пожал плечами и исполнил приказание.

Едва выйдя из карцера, Никита отыскал Мишу, нахмурившись, переждал радостные вопли друга и сумрачно спросил:

– Зачем вы вмешались? Вас это никак не касалось.

– Как же не касалось?! Вы с ума сошли, Закатов?! – изумился Миша, широко распахнув чёрные, и без того огромные глаза. – Я думал... Простите меня, Закатов, но я полагал, что мы друзья!

В голосе его Никита услышал едва скрываемую обиду, и ему стало немного стыдно.

– Разумеется... конечно, друзья, но...

– Знаете, вас теперь могут побить, – деловито сказал Миша. – Возможно, даже устроят «тёмную», в одиночку Свиридов не решится. Видимо, придётся несколько ночей не поспать. Попробуем дежурить?

Никита не возражал, всё ещё удивлённый таким участием этого чужого паренька в его судьбе и уже благодарный ему за это.

Разумеется, больше одной ночи мальчики выдержать не смогли. На вторую ночь Никита проснулся от ощущения чего-то душного, немилосердно вонючего, накинутого на голову, и от града ударов по рёбрам и животу. Никита попытался сдёрнуть дурно пахнущий мешок с головы – ему немедленно заломили руки, и от острой боли остановилось дыхание. Стиснув зубы и глотая солоноватую жидкость, наполнившую рот, он старался уже не отбиться, а хотя бы не стонать на радость своим мучителям.

– Немедленно прочь, скоты! – донесся вдруг до него сквозь режущую боль и шум в ушах знакомый голос, – и руки, державшие его, вдруг разжались. Никита немедленно вскочил на ноги, сбросил с себя кого-то, мощным ударом отправил в пролёт между койками ещё одного, – и только тогда увидел оцетинившегося, встрёпанного Мишу Иверзнева, висящего на спине Свиридова и молотящего его ногами по лодыжкам. С соседних кроватей поднялись стриженные головы, послышались сонные, удивлённые вопросы. Миша и Никита, переглянувшись, встали спиной к спине, на них налетели сразу четверо... и в это время в конце дортуара зажёгся газовый рожок и появилась фигура дежурного воспитателя.

Свиридов и его помощники были взяты с поличным: то, что произошло в спальне, было очевидным, сразу несколько мальчиков показали, что новенькие лишь защищались, а страшные ссадины на лице и боках Закатова были слишком красноречивы. Терпение корпусного начальства лопнуло, и кадет Свиридов, к бешеной радости младших курсов, был исключён. Немногословный, сильный новичок из Смоленской губернии тут же стал кумиром малышей. А день спустя в столовой к столу младшего курса неспешной форсистой походкой подошёл сам Геркулесыч – шестнадцатилетний парень с косой саженью в плечах и добродушным взглядом чёрных, лукавых глаз. Он тут же облапил весело запищавшего Мишу и через плечо младшего брата прогудел Никите:

– Так это тебя мой Мишка от рыжего гада отбивал?

– Да, Петя, именно его, – гордо подтвердил Миша. – Но, по совести сказать, он и без меня бы отбил. Такой сильный, что страсть!

– Вот и пусть бы сам!.. – буркнул Пётр, довольно нежно давая брату подзатыльник. – А то всегда ты каждой бочке затычка! И маман потом рыдает, что я за тобой тут плохо слежу! А ну-ка, Закатов, поди сюда... Давай силушкой померимся, пока вашего ротного нет. – Геркулесыч основательно уселся за стол и закатал рукав, крепко установив локоть на столешнице.

В первую минуту Никита испугался: победить Иверзнева-старшего было невысказано, и мальчик подозревал в предложении черноглазого богатыря какой-то подвох. Машинально он взглянул на Мишу – и увидел в его глазах весёлые искорки. Это слегка успокоило Никиту, и он молча сел напротив Петра. Вокруг столпились возбуждённо гудевшие кадеты; подошли даже несколько человек со старших курсов.

– Раз... Два... Три! – скомандовал Миша, и Никита почувствовал, как страшная сила сжала его ладонь. Он был уверен, что через долю мгновения окажется повержен, но прошла секунда, другая, третья... а они с Геркулесычем, красные, вспотевшие, с оскаленными зубами, по-прежнему сидели vis-à-vis, яростно сцепив ладони, нажимая изо всех сил, – и ни один не

сдавался. Младший курс орал от восторга. Старшие с изумлением переглядывались. Через плечи кадетов за исходом поединка с интересом наблюдал подошедший ротный командир. И понадобилось его негромкое: «Кхм-м, Иверзнев...», чтобы Геркулесыч, бешено оскалившись, с явной натугой опрокинул руку Никиты на стол и вскочил.

– Связался чёрт с младенцем, Иверзнев! Вам не совестно? Неужто брошенные лавры Свиридова подобрали? – упрекнул Селезнёв Петра, с уважением глядя при этом на вытянувшегося Никиту.

– Осмелюсь доложить, господин штабс-капитан. – Чёрные глаза Геркулесыча смеялись. – Это никак не младенец. Силён, как Илья Муромец, если бы не вы – лежать бы мне на полу!

– Полно врать, ступайте за свой стол. А вы, Илья Муромец, займитесь лучше кашей, она уже ледяная. Все по местам!

Кадеты кинулись за столы – и Никита оказался под перекрёстным огнём восхищённых взглядов. Через полчаса весь корпус знал, что новичок Закатов оказался чуть ли не равным по силе знаменитому Геркулесычу. И до самого окончания корпуса уже никто не осмеливался навязать Никите драку или даже косо взглянуть на него.

Много времени спустя Пётр, смеясь, сознался Никите, что поддался ему на глазах всей столовой по просьбе младшего брата: Миша опасался, что друзья Свиридова захотят отомстить за позорное исключение товарища. Но тогда Никита этого не знал и был совершенно оглушён свалившейся на него славой. Младшие кадеты ходили за ним, словно за апостолом; предложения дружбы сыпались как горох. Но Никита, хорошо помнивший, что в страшную ночь «тёмной» на помощь ему пришёл лишь Миша, ни с кем больше не сошёлся близко.

Миша Иверзнев происходил из старой, известной всей Москве дворянской военной семьи, в которой не водилось большого достатка, но образование детей считалось делом священным. После смерти генерала Иверзнева его вдове остались старый дом в Столешниковом переулке и пенсия. Марья Андреевна, круглолицая, добродушная, неутомимая женщина с родинкой над губой, была знакома со всей Москвой, имела кучу близких и дальних родственников по всей империи и непрерывно находилась в хлопотах. С утра до ночи она бегала по городу или сидела в приёмных значительных лиц, составляя протекции, выбивая пенсии, ища женихов, пристраивая сирот в приюты, а одиноких старух – в богадельни, собирая деньги на приданое очередной бедной невесты или на подарок чьему-то сыну, отправляющемуся на Кавказ. В Москве знали, что если за дело взялась генеральша Иверзнева, отвязаться от неё будет невозможно. Значительные лица, которые зачастую приходились родственниками самой Марье Андреевне или её покойному супругу, обычно сдавались без боя: пенсии выписывались, дети принимались на казённый счёт учиться, дочери выдавались замуж, деньги собирались свыше необходимого и срочно отправлялись по назначению.

Старший сын Марьи Андреевны уже закончил корпус и служил в полку в Петербурге. Младшая дочь Вера училась в Екатерининском институте. Обо всём этом Закатов узнал от друга в первые же дни нахождения в корпусе. Миша рассказывал о своём семействе подолгу и с удовольствием, и Никита поначалу был абсолютно уверен, что новый друг врёт без зазрения совести.

– ...а когда мы с Петькой рыбачили на Москве-реке и я о корягу себе ногу распорол, он меня полторы версты до города на закорках нёс! А там уж встретили знакомого извозчика, и он согласился в долг довезти до Столешникова и выгрузить на заднем дворе... Крови было ужас сколько, извозчик страшно ругался, что теперь в его тарантас никто сесть не пожелает! И вот, Петька остался с Федосьей, нашей кухаркой, отмывать на задворках тарантас, а меня старший брат, Саша, тащит на руках через малинник к окну папиного кабинета! И всё оч-чень тихо, потому что у мамы, знаете ли, нервы, и если бы она эту мою ногу увидела... Бр-р! Отец распахивает окно, свешивается и принимает меня прямо из Сашиних рук! Саша, натурально, тут же бежит за Егоровной, это наша няня, и все втроём как можно тише меня перевязывают...

А Петька, отмывши извозчику его колымагу, всюю заговаривает маме зубы в гостиную, уверяя, что на бульварах чудно цветёт сирень! Но маму, разумеется, не проведёшь... После было столько шума! Отец пытался в кабинете укрыться – не помогло... Только Егоровна маму и уговорила, а то бы сидеть мне без рыбалки до конца лета в своей комнате под арестом! А более всего обидно, что леща-то я тогда упустил! Огромнеющий был лещ, без малого аршин, даже Петька клялся, что никогда такого не видел! На другое утро они с отцом тайком от мамы туда ходили удить... и ничего! Ни единой плотвички! Хорошо, что хоть Петька того леща видал, а то бы мне и не поверил никто!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.